

ВРЕМЯ ИДМБ 78 1984

В ЭТОМ НОМЕРЕ: СОВЕТСКО—ГЕРМАНСКИЙ ПАКТ: 1939 ГОД



Я ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ В КРЕМЛЕ СЛОВНО СРЕДИ
СТАРЫХ ПАРТИЙНЫХ ТОВАРИЩЕЙ (РИББЕНТРОП)

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Десятый год издания

Выходит один раз
в два месяца

78
1984

НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" — 1984

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	КАРЛ ПРОФФЕР
МИХАИЛ КАЛИК	ИЛЬЯ СУСЛОВ
АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН	ДОРА ШТУРМАН (зам.гл.редактора)
АСЯ КУНИК (отв.секретарь)	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ИЛЬЯ ЛЕВКОВ	ЕФИМ ЭТКИНД
ЛЕВ НАВРОЗОВ	

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
**Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800 PUTEAUX
FRANCE**

Представители журнала:

Англия **Александр Штрмас**
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick,
Brighouse W. Yorkshire HQ6 3PZ ENGLAND

Западный **Juscwe Mitchijew**
Берлин **Hussiten Str. 60, 1000 Berlin 65**

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Андрей НАЗАРОВ
Песочный дом. 5

ПОЭЗИЯ

Английская и американская эпиграмма.
Переводы Г. Бена. 81
Игорь ПОМЕРАНЦЕВ
Пейзажик в октябре. 94

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

Иосиф КОСИНСКИЙ
В перспективе — военная диктатура 97
Дора РОМАДИНОВА
Шостакович: герой или антигерой? 112
Марк ПОПОВСКИЙ
Дети и эмиграция. 136
Доналд РЕЙФИЛД
Исповедь Виктора Х. — русского
педофила. *Перевод И.Померанцева.* 148

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Юрий ЛЮБИМОВ
На свете счастья нет, но есть покой и воля. 164

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Чарльз БОЛЕН
Пакт Сталин—Гитлер: 1939 год. *Перевод Р.Монас.* 184
Леонид ШАМКОВИЧ
Эссе о шахматной элите. 212

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Живописец Александр Данов. 239



Андрей НАЗАРОВ

ПЕСОЧНЫЙ ДОМ

У ворот Сахана окликнул Михей-почтальон и помахал рукой, заманивая в сторону.

— Иди ты... — огрызнулся Сахан, поправляя карман, оттопыренный деньгами, и прошел мимо, но дернулся, как от тока, развернулся и двинулся прямо на Михея.

Взгляд его, расширенный разноречивыми и мгновенно сменявшимися чувствами, смутил Михея. Он попятился к решетке, положив покалеченную руку на офицерский планшет, в котором разносил почту, а другую отведя за спину. Сахан подошел вплотную и остановился, расставив ноги.

— Ты вот что, Сахан. Похоронка тут на ваш дом, в семидесятую, Осиповым. Да ты не журишь, не на сына — племяш, что ли какой... Так ты уж снеси, Сахан. — И Михей вытянул из-за спины руку с похоронкой, накрытой мятым червонцем.

Он стоял перед Саханом с протянутой рукой — потемневший от пьянства, с клочьями запущенной щетины на скулах — и отводил в сторону обиженные глаза навывкате.

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

© "Время и Мы"

ISSN 0737-7061

Окончание. Начало в № 77.

Роман печатается с сокращениями.

— Падаль, — негромко произнес Сахан и, оскалившись во весь рот, со свистом втянул воздух сквозь неровные зубы. — Лидку-приемщицу тянешь, посылочки трофейные курочишь, так? И сыт и пьян, и нос в табаке? Душевно живешь, падаль. Так? А мне, значит, червонец, чтобы я по людям смерть таскал? Чтобы меня на улице шарахались? Отчего ж нет? Сахан — рвань, с него мать штаны пропивает, да он за червонец удавится. Так? Ну, теперь запомни, мразь, еще раз ко мне сунешься — заporю. Понял? Жить не буду — а заporю. А теперь получай!

Сахан аккуратно разорвал купюру, сложил в горсть и с размаху влепил в лицо Михею. Тот икал и плакал. Несколько клочков налипло на лицо, как оспа, и Михей неловко сбрасывал их тыльной стороной здоровой руки, зажимавшей похоронку.

Сахан отошел, снова поправил деньги, подумал: "Вот оно как — карман набил, сразу и в люди метишь". И забыл, вычеркнул из себя Михея.

* * *

Вечером Сахан сидел в кочегарке, смотрел, как Степка дует водку и дуреет на глазах. Потом и сам выпил полстакана, чтобы заглушить беспокойный вопросик, никак не вырвавшийся в мысль, — продавая сестрицу, не продал ли он что-то в себе самом и не продешевил ли, и есть ли вообще цена такому невестественному товару. С непривычки и с голода водка ударила в голову, привела Сахана в беспричинное возбуждение. Руки его бегали по шаткому фанерному столу, стараясь заровнять бугры расслоившейся фанеры, но прижатая в одном месте, фанера пузырилась в другом, и справиться с ней — рук не хватало.

— И не хочется тебе удавиться? — участливо спросил Сахан.

— Христос с тобой, Саша. Ты что это? Почему давиться?

— Да потому, что нет тебе места на земле. Так и проживешь свой век в яме этой — в грязи да обносках. Удавиться бы краше.

— Страсти-то, страсти-то ты намечтал, Саша. Давиться... Что на мне, грех какой? Мне здесь хорошо, здесь хорошо, Са-

ша. Зимой тепло, летом тихо. Теперича дождь пошел — а здесь не каплет. И крыса у меня живет. Она седая, старая. Ты, говорю, иди, крыса, в распределитель, что тут тебе корысти? Уголь один. Не идет, любит меня. И я ее жалею, когда корочку положу, когда...

— Дура, — оборвал Сахан. — Крысу она пожалела, корочку кинула. Экая дура.

Степка покорно замолчала.

— Да ты ее потому пожалела, — продолжал Сахан, воодушевляясь, — что она вся-то с палец. А стань эта крыса вдвое тебя больше — куда бы ты делась от страха? То-то! Те нам и хороши, кому мы великаны. Тем и корочку. Ты вот тут сидишь, радуешься, а и невдомек дура, что для людей сама не больше этой крысы. Подкинут тебе на глупость ветошку или кастрюльку мятую — ты и рада. А что тебя за человека никто не держит, что тебе, как крысе, корочку кидают — не чухнешься.

— Ты что, ты что говоришь, Саша, ты где таких людей видел? Люди простые, добрые, друг друга любят. И помогают чем могут. И не в обиду, не в обиду — вот я и беру. Жалуют друг друга люди. И бомбу такую бросили, чтоб не убило нас.

— Да заткнись же ты, уши вянут! — простонал Сахан. — Была душой, а теперь и вовсе спятила.

— Это правда, больная я, — горячо согласилась Степка. — Жалобная я очень с детства. Я раньше стеснялась, что такая, все по углам пряталась, а теперь не так. Украду для старушки какой уголька у Феденьки — она и рада. Ну прибьет меня Феденька, прибьет, а потом сам плачет. Тогда я и его пожалею.

— Да уж, мужиков жалеть — это ты мастерица.

— И жалею. Как мужика не пожалеть — он или с войны спиленный или отроду больной. А ты это с дурного говоришь, Саша, с дурного. В тебе кровь недобрая, смутная кровь. Ушел бы ты, Саша, страшно с тобой.

— Будет тебе, — ответил Сахан. — Пей лучше.

Заскрипела входная дверь. Сахан насторожился, но дверь скрипела в тяжелой борьбе с ветром — снова и снова — а Лерки не было. "Придет, — думал Сахан, — куда ему деться. По-

мешался он на моей дуре, факт — я с погляда заметил, а первый погляд не обманет. Влип барчонок. И что ему в ней?"

С отстраненным любопытством, как вскрытую лягушку в биологическом кабинете, оглядел Сахан сестру. Опять нашел в ней сходство с собою, только лбом Степка и разлилась — круглым, овечьим, идиотским.

— Встань, — сказал Сахан, — покажись.

Недоуменно хихикнув, Степка поднялась.

— Чего показывать?

— Все.

Степка расстегнула, развела полы черного халата. Тело ее, нагое и обильное белело в полутьме кочегарки. "И не жрет ни черта, а прет из нее все это", — думал Сахан, внимательно рассматривая то, в чем было сосредоточено все зло его жизни — бесстыдное, отвислое, бабье — и не мог понять, чем это влечет Лерку.

— А ты... — сказала Степка с недоуменным хихиканьем. — Ты хочешь, что ли?

Сахан сплюнул и ответил, дрожа от ненависти:

— Застегнись, дура. И пей. А дверь на ночь не затворяй. Поняла?

— Поняла, — послушно согласилась Степка.

Она быстро втиснулась в халат, застегнулась и запела, обрушивая на фанерный стол град ударов:

Через пень, через пень,
Через колотушку,
Девки деда целовали
В лысую макушку...

"Наладил гуляночку", — подумал Сахан и, усмехнувшись, выбрался из кочегарки.

* * *

П пульсирующий жгут воды выбивался из бетона, стекал по двору, падал в сток и там, под городом, соединялся с другими потоками.

— Куда он? — спросил Болонка, наступив на ручеек.

— В Москву-реку. Там в набережной трубы торчат, и она из них льется. Я видел.

— А потом?

— Потом в море течет, потом в океан.

— А совсем потом? — настойчиво спрашивал Болонка.

— Потом она вроде как умирает. И из нее облака делаются. И дождь, и снег, и лед.

— А потом?

— Потом все сначала.

Болонка заплакал.

* * *

Обладание отрезвило Сахана. Деньги шуршали в его руках тем, чем они и были — бумажками.

"На что они? — думал Сахан. — Бежать отсюда некуда, жизнь везде одна — советская — только отловят, да в колонию. А там по-макарински — уroda начнут кроить, чтобы под всех был, чтобы уродством своим дорожил пуще жизни. Что же мне с этих денег — нажраться от пуза? Так наизнанку вывернет — усохло оно, усохло за войну пузо, и забыть о нем пора. Матери подарить — в загул ударится, позора не оберешься. Или костюм купить? Да и в самом шикарном костюме останусь я дворником, сыном Маруськи-пьяницы. Надень его Лерка — у всех сопли потекут от зависти, а на мне он — смеяться только. Эк, скажут, вырядился дурень, не иначе, как на наших похоронках нажил".

Сахан заерзал, зачесался, почувствовал страшное опасение, что не за тем он гонялся, не в том искал силу. "Ну еще пять кусков нацыганю, ну, десять. И что? Сидеть на них курицей? Всю жизнь в Ферапонтах проишачить, а потом на танки жертвовать?"

Он вскочил на ноги, прошел бесшумным чердачным мусором, отбросил в темноту деньги, мешавшие рукам. "Ошибся, ох ошибся, не там силу искал. Не в деньгах она. У нас кто не в чинах, а с деньгами — вор. А вор любого столба шарaxаться должен. Это Кащей по глупости гоголем ходит, да еще за грудки хватает. И перед ним-то я шестерил всю жизнь! Тыфу! Ничего, сквитаюсь еще, попомнит Сахана. А деньги — не то, не за них ломаться надо. Что же тогда? В работяги? Поломался,

будет. Пусть на них лошадь пашет. В ученье податься если? Насмешил. Академик Сахан, тудыт его мать. Вон, у Феклы квартирует книжник — на цыпочках ходит, да на книгах спит. Глупость одна. Много ли через книги эти возьмешь? Только без головы останешься, а по жизни — все нуль без палочки.

Другим брать надо. Вон, Леркин отец. — Сахан замер, почувствовал, что попал на верное. — Ба! выходят же люди в Леркины отцы. Из кого-то они получаются! Или воли у меня не хватит? И где же я раньше был, дубина! — Почувствовав зудящую потребность в движении, он стал быстро ходить по чердаку, спотыкаясь о балки и не ощущая боли. — Вот чем силен Лерка — отцом. Не деньгами, не горжетками своими. Рождением. Там, за коврами да бархатами, в тишине, в музыках, в налаженной жизни. Он, как слепой кутенок пока, этот Лерка — брыкается, все бежать куда-то хочет. Перебесится. А уж жизнь ему уготована, направляет папаша. И отличник, и вожатый, и в комсомольцы его сподобили. А я-то, дурак, тем только и держусь, что война, а то бы вышибли давно из школы. Учусь по случаю, лишний раз книгу не раскрою. На уроки хожу — с пятое на десятое — трудовой фронт, дескать, заедает. На второй год остался. Тьфу! А по общественной линии — вообще нуль. Не люблю, сволочь, задарма работать. В барабан на сборах стучал — так и тот слямзил. А ведь это не задарма, это главное, это единственную дорогу открывает, по остальным — плутать только.

Поздновато спохватился. Но ничего, наверстаю. Два класса в год окончу — восьмой и девятый — догоню Лерку. И к писунам вожатым пойду. И в барабан бить буду. Из шкуры вылезу — а в первые выйду. И к Лерке. К Лерке прилепиться намертво. Это главное. Его по жизни потащат — глядишь, и я за ним вылезу. А до дела если дойдет — так мне его объехать, как два пальца об асфальт.

Будет, — прервал себя Сахан, — не лишку ли разогнался? Не торопись. Под ноги посмотри. Лерку обматерил сегодня — а он гордый, обидчивый — с жиру, с того, что цены ничему не знает. Теперь зализывать надо. Деньги ему за шкуру вернуть — пусть мальчик героизм проявит, пожертвует на танк мама-

ше-Родине. Все сделать — только бы не сорвался Лерка с крючка. Степку ему давать, когда захочет. За так давать, но умело. Степка — туз, попусту ею не бросаться. Если Феденька заартачится — кирпичом Феденьку. А вернее — бумажку сострять, куда надо. И думать, думать".

Сахан подобрал деньги и вышел во двор. Ночь подрагивала на исходе. Приложил ухо к двери кочегарки — там ли Ромео? Ничего не услышав, опустился вниз, чиркнул спичкой. На лавке под тряпками сладко спала Степка. Лерки не было. "Не приходил", — понял Сахан и, как из-под воды, в одно дыхание выскочил из кочегарки. Подождал, пока привыкнут глаза, ослепленные вспышкой, и отыскал в непроницаемых рядах Леркино окно.

— Лерка, — позвал Сахан. — Лерка!

Ответа ему не было. Мельком подумал, не спит ли Ромео, но решил — нет, не должен спать. Спал бы — так два куска не отдал. Боится. Хочет — и боится.

— Лерка, выходи! — крикнул Сахан во все горло, рискуя всполошить дом. — Выходи, возьми деньги!

И тут окно вспыхнуло ошеломляющим, беззастенчивым светом. Сахан отпрянул — так неправдоподобно выглядело горящее окно без маскировки, что почудилось, будто война кончилась. Он потянулся на свет, влез на насыпь и вытянул шею, будто за себя вырос — но окно погасло, оставив его в темноте и одиночестве.

"Услышал, — думал Сахан, не сразу сообразив, что случилось. — Услышал, но ответить не хочет. Презирает".

Сахан едва не взвыл, вышатнул из парапета обломок кирпича в присохшей извести, собираясь вклеить в окно, но одумался, на замахе переломил себя и хватил по ноге. Завыл, заплясал, затаптывая вывалившиеся из кармана сотни. Потом остыл, пригоршнями сгреб деньги с земли, скомкал и, отстраняясь от них, запрокинул голову. С неба глядели звезды — далекие, холодные, чужие. "И там — то же самое", — подумал Сахан и плюнул вверх, едва успев отскочить от плевка. Это позабавило его, он плюнул другой раз и вовсе успокоился.

* * *

Сосед дядя Коля-электрик в халате, сшитом из полосатого полотенца, осунувшийся и покрытый глубокими складками, как продырявленный резиновый тигр, не спал всю ночь и думал о Машеньке, потому что думал о ней всегда. Мечты о ней, возбужденные вчерашней покупкой горжетки, за ночь утратили присущую им сладость, и причиной тому был неотвратимый ход времени. Война, давшая ему верный шанс на завоевание Машеньки, была на исходе. Как человек оборотистый, электрик знал, что судьба мстит за упущенные возможности, и от близкого мира ничего доброго не ждал. Скоро вернутся фронтовики, и кем уж они были на войне, дело десятое, а тут они пойдут за живых героев. А он останется немолодым электриком, страдающим одышкой, липовым белобилетником и спекулянтом, и станет через дверь подслушивать любовный лепет Машеньки, обращенный к какому-то безымянному герою. До конца дней быть ему вороватым свидетелем чужого счастья и не вырасти из нахрапистого и неловкого провинциала, девять лет назад осевшего в Москве и заболевшего соседством недоступной барышни. Однажды и навсегда пленился он ее непринужденностью, равнодушным достоинством, очарованием ее поджатой губки, капризной твердостью и самим ее презрением. За переменчивостью ее настроений, электрик бессознательно угадал породу, ту внутреннюю устойчивость, которая дается поколениями налаженной жизни. Он потянулся к Машеньке из своего случайного и нечистого преуспевания, как к неизменной ценности, золотой валюте, неподвластной колебанию курса, и чем недоступнее становилась Машенька, тем жарче и потаеннее тлели его желания. Девять лет ждал электрик своего часа, избегая, как кровосмесительства, заигрываний рыночных торговок — и напрасно. Ничто не склоняло к нему Машеньку, предпочитавшую изводить себя над чужим бельем, и купленного по случаю песка ожидала роль пучка соломы, подложенного электриком в месте очередного падения.

Не возьмет тебя Машенька, — обратился к песцу дядя Коля.

Белый песец картинно развалившийся на красном плюшевом диване молчал и приветливо, но несколько однообразно улыбался. Дядя Коля-электрик непредвиденно всхлипнул, услышал стук в дверь и отвел задвижку.

— Машенька... — произнес он, попятившись. — Машенька... да что же это?

— Вот, — ответила Машенька, теряя решимость. — Вот, Николай...

— Дядя присядьте же, куда бы... Господи, да сюда, вот сюда. А зверушку мы попросим. Зверушку... Машеньке.

"Боже, как стыдно это", — думала Машенька, стягивая отвороты халатика.

— Мне некогда, Николай. Я хочу спросить об этом... санатории.

— Машенька, конечно! Да садитесь же, — твердил дядя Коля, дрожа от непереносимого чувства. — Конечно, санаторий. Только позвольте... Зверушку Машеньке ха-ха... беленькую. Вот, так ее, Машенька, на плечики... Позвольте... Ах, к лицу, Машенька, ведь как к лицу — мечта! Сколько лет мечты. Ах, Машенька...

"Как же я стара, — думала Машенька, зябко кутаясь в мех и испуганно глядя в распущенное лицо невладевшего собою электрика. — И как безнадежно все это".

— Санаторий — да завтра же. Что завтра — сегодня, сей минут. Ручку, Машенька... неужели. Ведь сколько лет... Машенька... я ума лишаюсь...

Дядя Коля-электрик прижал узкую Машенькину ладонь к треугольному рту и опасно побледнел.

— Придите в себя, Николай. Ведь я никогда не давала вам повода... — говорила Машенька за брезгливостью и жалостью не различая смысла слов.

— Ах, нет, — перебил электрик, шевеля вздутыми губами. — Как же-с? Ведь девять лет... Врага не побоялся, только бы с вами. Да что враг! Замужество переждал! Надежды... ах, Машенька... не отнимайте...

— Хорошо, успокойтесь, Николай. — Машенька глубоко вздохнула и преодолела сухость во рту. — Я беру ваш подарок. Поняли? Беру. А теперь мне пора.

Она отняла руку и ушла, а дядя Коля-электрик — бледный, дрожащий и невыразимо счастливый — жался к очертаниям ее тела, глядя и целуя примятый плюш.

* * *

Лерка ощутил толчок и пошел со двора, косо вздергивая плечо с висевшим на нем биноклем. Этот толчок обозначил преграду, возникшую в его сознании после неудавшегося самоубийства. Она не имела подобия в предметном мире, но Лерка вообразил ее толстым стеклом, неряшливо замазанным черной краской — и она стала стеклом, непроглядной преградой тому, что накопилось в нем и давило ртутной тяжестью.

Лерка вышел из Песочного дома, пересек аллею и, минуя чужие дворы, улицы и переулки, углубился в город. Он двигался все поспешнее, все острее выставляя вперед плечо, и утратил в своем бесконтрольном пути представление о пространстве, перешел в иную, высвобожденную Из реальности сферу бытия. Его сознание само стало сферой неразрешимого столкновения, делавшего Лерку почти невменяемым. Он был втянут в безжалостную битву призраков и, напрягая мозг, — клокочущий сгусток творения — старался найти правила, реальные предпосылки нереального противоборства. Болезненное напряжение сдавливало Лерку, он вспомнил: "Стекло, черное крашеное стекло — слепота, стекло слепоты". Присев от боли, он сдернул с плеча ремень и, раскрутив бинокль над головой, вбил его в стену. Линзы взорвались, облаками пара ударили из сплюснутых трубок. На мгновение стеклянная пыль заволокла сознание, и боль утихла. Лерка слепо шагнул вперед, но облако рассеялось — и глухое стекло вновь стало перед ним. Тогда Лерка уложил в руку сплюснутый бинокль и швырнул его в упор. Бинокль исчез в застекленной витрине, проломив ее, как кромку темного льда.

Лерка услышал выстрел. "Шестой, — мелькнула мысль. — Наконец-то, шестой!" — и в сокрушенную преграду хлынул поток звуков, могучие массы хора и оркестра.

Смещенное пространство воображения приняло в себя террасы звуков, точных в ритмическом членении — намеке на

форму в первородном хаосе. Определяясь в высоте звучания и соотношении темпов, музыка с пластической легкостью обретала целостную и совершенную форму.

Круг бытия разомкнулся, и от простершейся свободы у Лерки ломило грудь — возле разбитой витрины, в окружении возмущенной матерящейся толпы.

* * *

Распахнув подъездную дверь, Кащей придавил ее ногой и посмотрел на Еремеева. Тот понял и прошел первым. Дверь захлопнулась.

— Будто вымерли, — заметил Еремеев, шагая мрачным коридором, утопленным в глубине дома.

— От тебя попрятались, — пояснил Кащей.

Перед своей дверью он остановился, прислушался — тихо. "Хоть крестись", — подумал.

— Не испугаю? — прошептал Еремеев.

— Пуганая. Не таких видела, — ответил Кащей и пинком растворил дверь.

Открылась сумеречная комната с огромным незаселенным столом мореного дуба, изрезанным ножами и стеклами. За торцом стола, спиной к двери сидела женщина, перед ней стояла пустая бутылка, наполовину залитый стакан и резко выделявшаяся на черном груда белого меха.

— Мать... — начал Кащей и осекся, разглядев обращенную к матери оскаленную звериную морду. — Ты что, мать?

Женщина обернулась на голос. Распущенные волосы ее лежали на плечах, на белой блузке, открывавшей шею, и Кащей, который привык видеть ее всегда в черном, всегда склоненной над столом или мусором, всегда в терпеливом ожидании, в тишине и скорби, едва признал в этой женщине свою мать.

— Мужика своєю пропиваю, — объяснила она. — С утрава Михей-придунок похоронку принес. Вот и бутылку тоже. Да ревел в три ручья, прогнала я его.

— Михей горазд, когда не дерется, так плачет, — ответил Кащей, обрадованный, что не самому рушить на нее горе, что не новость уже, с утра вживается, и добавил: — А ты красивая, мать.

— Моя красота сынами изошла, — неторопливо ответила мать. — А что была из себя видная — это верно. Вот меня отец твой и углядел. Поди, погодкой твоей, в колонии. И стриженую, и в холщевке — а углядел, дыру в заборе проломал. Сквозь эту дыру к нему и лазала, там и Ваньку зачала, первенького. Тебя через него Ванькой и записывать не хотели — куда ж, говорят, тебе двух Ванек, путать только. А я уперлась — как в воду видела не убережешь обоих по такой житухе. Вот ты со мной и остался. Да этот... — она звонко ударила стаканом об оскаленную пасть. — С каким жила, с таким и поминаю. Да ты еще лягавого привел.

— Мать... — начал Кашей.

— А ты не супроти, — оборвала мать. — Намолчалась я, теперь говорить буду. Да начальника не суй мне в глаза, сама вижу. Что он мне? Садись, коль пришел, начальник, гостевать будем, я обхождение знаю. Ставь, Ванька, стаканы и бутылку с грудков вынай, ей на столе место. Хлеба тащи, селедки. Мне одной лень, а компанство мое дохлое, даром, что скалится. Да садись ты, начальник, попросту давай. Верно, недавно у нас?

— Да это Еремеев, — сказал Кашей.

— Петрович! — воскликнула мать. — Да ты ли? Ох, и пожгли тебя, сердешный! Не признала, видит Бог, не признала.

— Меня и мать не признает, не то что... — Еремеев снял фуражку, присел к столу и обтер ладонью бугристую кожу лба. — Благодарствую.

Кашей поставил стаканы и потянулся убрать со стола песка.

— Не тронь! — прикрикнула мать. — Он мне, может, душу вправил. Я, может, теперь про жизнь свою и узнала — вот она вся на роже его написана — пасть красная, зубы белые, гляделки стеклянные. Ну да ладно. — Она откинулась на стуле и смерила взглядом Еремеева. — Какая ни была, а своя, другой не дадено.

* * *

Дурные сны мучили Пиводелова. Были они хаотичны, полны мрачной сумятицы, как осеннее небо, и, как небо, неуловимы. Но со временем очертания туч сгустились, и неряшливый старец в лиловых подтеках заслонил внутренний взор домоуправа.

Вчера Пиводелов принял снотворное, быстро уснул и, избавившись от кошмара, мирно поигрывал по-маленькой в покер в избранном кругу антикваров. И все было бы хорошо, не получи он под самое пробуждение королевское каре. Тут он сильно надбавил, но партнер, заподозрив блеф, ответил, и в свою очередь надбавил втрое. Пиводелов ответил, выложил на стол каре против трех тузов партнера и тонко улыбнулся, но к своему изумлению обнаружил, что король трэф исчез.

"Обманули!" — торжествующе проскрипел партнер, и, подняв глаза, Пиводелов узнал в нем Исчезнувшего короля — проклятого старикашку, кутавшегося в живописные лохмотья.

На этом Пиводелов проснулся, сплюнул в фаянсовую плевательницу девятого века нашей эры, пошел на работу и в глубине Песочного двора наткнулся на материализованное сновидение.

"Так и есть, — решил домоуправ, остановившись над заерзавшим Данауровым. — Вот эта дрожащая нечисть, вошь в отрепьях. И зачем он?"

Существо, раболепно юродствовавшее на табуретке, настолько претило собранной и динамичной натуре Пиводелова, что вызывало позыв к рвоте. Домоуправ покинул старца, судорога отпустила желудок, но остался вопрос о том, зачем эта дрянь обращается в сон и навязчиво преследует его. Зажившийся старикашка, бесплодная тварь в обносках желаний, вырос до мистической значимости, потрясшей прагматическую натуру Пиводелова. Шаги, уводившие домоуправа от скверного старика, утратили военизированную четкость, руки повисли, и рисунок движений стал расплывчат, как на образцах самодельного помещичьего фарфора.

С непреодолимой апатией Пиводелов приступил к борьбе с потоком кляуз, грозящим смести его за роковую черту.

Одна из задуманных мер состояла в том, чтобы послать ошеломляюще крупную взятку лицу, находящемуся вне сферы коммунального хозяйства, но наделенному весьма значительной властью. Это был рискованный и непредвиденный противником ход, обличавший сильного деятеля, и прикосновение к великому замыслу несколько ободрило Пиводелова.

Полистав записную книжку, он раскрыл ее на странице с частным адресом значительного лица, полученным из осведомленных источников. Фамилия лица была помечена обнадеживающим индексом "б", почерпнутым из тех же источников и означавшим "берет". Пиводелов придавил книжку пресс-папье и погрузился в упаковку бандероли площадью со сто-рублевую ассигнацию и высотой в сто тысяч, вырученных от продажи уникальных образцов национального фарфора.

Американская самописка цепляла плотную бумагу бандероли, и адрес значительного лица казался написанным Наполеоном в конце третьей недели пребывания в московском Кремле. Разочарование достигнутой целью, растерянность перед грядущим и отблеск непредвидимой катастрофы уловил Пиводелов в шарахавшихся буквах, и идея непредвиденной взятки потеряла для него всякую привлекательность, показалась слабой копией с ошеломляющего, но последнего шага Наполеона, добровольно сдавшегося англичанам.

Он грустно и обильно размазывал пальцами клей по стыкам и складкам бандероли, когда в конторе появились дети с фанерой и вручили ему деньги. Пиводелов не понял, откуда деньги и зачем, но на всякий случай взял. Дети потребовали пересчитать сумму, и Пиводелов рассеянно согласился, но обнаружил, что руки его исчезли под ворохом налипших денег. Не осознавая отчаянности положения, Пиводелов начал доверчиво отклеивать их, но не успевал высвободить из вороха два пальца и сорвать купюру с одной руки, как она оказывалась приклеенной к другой. В поведении денег явно проглядывало нечто метафизическое, отвергнутое марксистской наукой, как буржуазный предрассудок. Пиводелов испуганно вскочил со стула и попробовал избавиться от денег, прижимая их к столу локтями, коленями и иными частями тела, но стол не помогал. Взволнованный домоуправ прибежал к помощи стула, потом яростно тряс руками, пытался соскребать деньги о стену и снова зажимал их посторонними частями тела, в результате чего оказался оклеен развешивающимися цветными лоскутьями. Конвульсивно отряхиваясь и цепляя на себя новые купюры, Пиводелов в поисках спасения испуганно ме-

тался по конторе, напоминая индейца племени дакотов в ритуальном танце.

Но Пиводелов не был дакотом. Он был домоуправом. Он сроднился с вымыслом, жившим в строго определенной исторической формации, и публичное падение авторитета окончательно взбесило его. Он стал зубами рвать с себя купюры и яростно сплевывать на пол, но проклятые деньги — классово-чуждая, буржуазная мера успешно изживаемой собственности — залепили лицо, и ослепленный, обессиленный, задыхающийся домоуправ рухнул на стул. Несплюнувшийся червонец свисал у него изо рта языком загнанной собаки.

* * *

На мгновение дед усомнился — не своей ли охотой шею в петлю сует — но справился, подавил страх. Петля ли, нет, а не научен на попятный ходить, и научиться поздно — пришли. Уже холуй с докладом пошел. Вернулся и дверь придержал — ждет начальник.

Ждать-то он ждал, но зада не поднял, в бумажки уткнулся, как и не видел. Дед стиснул кулачищи да по тюремной хватке — назад их, за спину. А как словил себя на том — до того озлился, что уж и слова не мог выдать. Так и стоял пнем, руки у груди корявил. А ведь готовил слова, и начать думал складно — так мол и так, друг Гришка, помнишь, как про нас песни пели? В песнях-то, правда, не Гришку, а самого деда поминала ополченская гольтьба, было время, но словчить решил. Вот и словчил. Помолчал, помолчал, потом про эвакуашек бездомных вспомнил, заявление достал из кармана, грохнул о стол, развернулся — и за дверь.

Тут только и слово наконец вырвалось. Прорычал в огляд:

— Как был ты, Гришка, холуй, так и остался. Мне б тебя третьим ординарцем держать, сапоги чистить, а я тебе штаб доверял.

Думал, хоть этим прошибет — ан нет, не вскочил, Гришка, за кобуру не дернул, тихо так сказал:

— Холуй ли — нет, не тебе судить. А вот, что дурак ты — это точно.

— Это ты мне — дурака? Своему командарму?! — заревел дед.

— Да был ли ты когда командармом, Савелич? Не был, и скажи спасибо. Ты и жив-то еще от дурасти. Много на себя брал — а посмотри, кем вышел? Вот и теперь орешь, а на кого — не смыслишь. В общем, иди, Савелич, и дорогу забудь. А еще советую из Москвы сваливать. И подальше. Подумаешь — спасибо мне скажешь.

— Застрелить тебя надо, Гришка, — сказал дед. — Другим не проймешь.

Хотел на двери отыгаться — душа из нее вон — так нет, высока дверь, а в ходу мягка, без шума затворилась.

"Это нарочно такую придумали, — подумал дед. — Видно, хлопают ею часто, вот и приспособили механизм, чтобы начальство не тревожить. Этот Гришка всегда покой любил. Холуй — одно слово".

Но дорогой дед одумался. Разжалованный из живых, даже и в петлю не годный — чего ждать он мог от Гришки?

* * *

Сахан уходил. За спиной его остался орущий мальчишка, к которому уже бежала какая-то шлопунь.

"Нескладно вышло, не удержался, — думал Сахан, кусая губы. — Спасибо, лягавого увезли. И песка поторопился Кащеем подбросить, вверх не глянул, а оттуда, и впрямь, писуна мамаша могла глядеть. А ну, как пойдет теперь история? Ох, нескладно. Щенок, собой не владею. А на том пути, что выбрал — огляд да огляд нужен. Хорошо, не до смерти гаденыша хватанул, оторется. А откинул бы концы, где тогда меня искать? То-то. Горячий больно. А еще, когда из Леркиной комнаты в щелочку глядел, как гуляли у его отца генералы да полковники — молодые, ярые, фронтовики — не одобрял. Много о себе понимают — родину они остояли, врага по шапке железным кулаком шлепнули. Так война-то не навеки. С такими ухватками, с железными кулаками да нахрапом, об мир быстро пообломаются. Не одобрял, а туда же. Плохо. И с войной запоздал, нет бы родиться пораньше. Многих война

подняла, многих и еще поднимет. Не попал в струю. Ничего, на меня и мира хватит — своего не упущу. Только держать себя надо, не торопиться. А с Кащеем..."

Сахан вышел из-за крыла дома и тут же отпрыгнул назад. Кащей с участковым стояли в воротах и мирно беседовали. Потом Еремеев поправил торчавшего из-под локтя песка, пожал Кащеем руку и вернулся во двор, а Кащей двинулся вдоль забора.

Сахан глазам не поверил. Потом не выдержал, бросился на улицу и перехватил Кащею у бокового въезда во двор.

— Зачем Еремеев приходил? — с хода бухнул Сахан, и тут же спохватился, что опять дал промашку, выдал себя.

— Потолковать приходил. Интересуешься, значит?

"Определил, бля буду, определил", — думал Сахан, сжимаясь под внимательным взглядом Кащея и ожидая удара.

— Не слишком...

— Не слишком — не спрашивал бы, — возразил Кащей. — А толковали про работу. Парней просил на завод вербовать. Тебя, к примеру. Сам знаешь, рук не хватает. — Война, Сахан, — добавил Кащей.

"Объехал ты меня, — думал Сахан, наливаясь злобой. — Ох, лукав, ох, лукав ты в простоте своей. Что про завод с тобой Еремеев толковал — это лукавство плевое, а истинная твоя ложь ребрами скрыта. Ты с молоком матери жизнь нашу всосал, а она проста, как арестантская молитва, — шаг вправо, шаг влево — конвой открывает огонь без предупреждения. То за тебя братья по сторонам шастали, а когда твой черед пришел, ты и спрятался в работягах. Шкурой дорожишь, Кащей, вот и вся твоя правда".

— Война, Кащей, — ответил Сахан.

Отдаленный переполох донесся со двора, и Кащей прислушался.

— Никак, стонет кто?

— Война, Кащей, — повторил Сахан, улыбаясь неподвижным лицом. — Как не стонать.

* * *

Дед посмотрел на медведя, нашел черные стекляшки глаз и сказал:

— Не сердчай. Последний должок. Уплатим.

— Какой должок? — тихо спросил Авдейка.

— Спи, милый, спи. А должок так, ерунда. Всего не оплатишь.

Дед просидел над своим внуком всю скорую летнюю ночь, и Машенька, пробуждаясь от сна, видела в рассеянном свете звезд его силуэт, огромный и чуждый, как обломок древнего монумента.

— Я уже здоров, — сказал Авдейка, проснувшись, и быстро оделся. — Ты знаешь, что мне снилось? Мне сон снился. Угадай, что?

Дед подумал, посмотрел на горстку пшена в Авдейкиной тарелке и спросил:

— Хлеб?

— Нет, мне странное снилось. Как будто наш дом летит. А у меня день рождения. У нас друзья, свечи горят, мы играем... и летим, летим. Ах, дед, как хорошо было!

— Растешь, — коротко ответил дед, и глаза его заволокло.

"Что ж, пора, — думал он. — И пусть все будет, как в Авдейкином сне, как в его летящем доме — день рождения, друзья, свечи — ведь мы и вправду летим. А я свое отлетал. Не ждать мне нового дня рождения, и друзей новых не ждать. Пережил я друзей — теперь и вспомнить будет некому. И тут отбор: что живы, те не помнят, а что помнили — не отступились — и нет их на свете. Далеко же они меня опередили в долге. А я... восемь лет назад, когда в двери ломались — револьвер под рукой лежал. А я... на милость отдался. И кому? Гришкам на милость! Крысиное племя за своих держал, надежды строил. Забаловался с жизнью, как с девкой, и честь позабыл. Гришкино право над собой признал! И восемь лет за жизнь цеплялся, как слепец за нищенскую суму. Это — я, воин! Командарм революции! — Дед налил кровью и тяжело заворочался в кресле, локтями сминая скатерть, — пора, образумился. Добрались-таки до конца. Коли не прав в

чем был — не обессудь, девушка. А семья мое носишь, прорастет. Придет срок, отзовусь в своем мальчике. А что вспомнить некому — так слез меньше".

* * *

Но дед ошибался.. Неподалеку, всего в пяти минутах пешего хода от Песочного дома, в тихой комнате, вместившей в свое лаконичное трехмерное лоно самые изысканные пространственные формы, вспоминал о нем домоуправ Пиводелов А.А.

Воспоминания едва брезжили домоуправу сквозь непреодолимую душевную апатию. Человек деятельный, он был чужд статичным наслаждениям Востока, и дремотное созерцание коллекции временами утомляло его. Всякая же конкуренция, благодаря бескорыстной помощи Советской власти, была в корне подавлена. Правда, исторический опыт нашептывал Пиводелову, что по окончании войны brave генералы потрясут Европу, и все награбленное фашистами перекощет к победителям, а среди прочего и трофейный фарфор, но он твердо верил в гвардейский вкус генералов и серьезной конкуренции не ожидал. Цель жизни была достигнута, и Пиводелов чувствовал себя пулей, отскочившей от мишени.

Смятенному состоянию духа домоуправа немало способствовало внедрение в его жизнь темных мистических сил. Все эти скверные старцы, клещащиеся червонцы и нищие дети, жертвующие деньги на танк, на глазах разрушали материалистическую оболочку вымысла. Домоуправ поежился, ощутив себя человеком-невидимкой, с которого срывают одежду, обнажая скрытую пустоту. Он попытался спрятаться в сафьяновом томике Уальда, но наткнулся на мистическое поведение известного портрета — и сафьяновый писатель был захлопнут.

После продажи исторических фолиантов, Пиводелов читал мало, ограничиваясь справочниками по фарфору. Собрание Оскара Уальда он выменял на фарфоровую дощечку, предположительно, из иконостаса Миклашевского. Дощечка была случайным фрагментом, цену имела незначительную, а смысл — темный. Пиводелов решительно отрицал христианские куль-

ты и в отрицании их был суеверен, как католик. Они внушали представления о каком-то ни с чем не сообразном надмирном начале и грозили свободному человеку всякими карами за порог его брэнного существования. Культы выработали национальный тип величия — пророков, мучеников, иноков и разных прочих верижников. Прагматическому домоуправу, давно составившему собственное мнение о русском мессианстве, все они казались неопрятными бездельниками, почему-то увешанными веревками и никакого величия в них он не предполагал. В этом, как и в подавлении фарфоровой конкуренции, Пиводелов целиком кооперировался с властью, подыскивавшей примеры подражания не в эфемерных сферах духа, а в весьма осязаемых формах государственности. Сбросив простоватую кепку, власть обратилась к истории, прикидывая к своему кителю разнообразные атрибуты: то трость с осном, проломившую, в частности, сыновью голову, то ботфорты, далеко превосходившие в размерах самые смелые начинания Моссельпрома, то подумывала о треуголке излюбленного Россией супостата, наспех перешиваемой домашним портняжкой.

Неизвестно, как далеко могла зайти власть в поисках аналогов своему величию, но уже освоенные параллели натолкнули Пиводелова на неожиданное обобщение. Он заметил, что у всех этих кепок, тростей с осном, ботфортов и треуголок, а по слухам, и у самого Кителя, дела с потомством складывались скверно.

Тут он вздохнул было с фарисейским сожалением, но, вспомнив о собственном бесплодии, прервал опасные размышления и устремил взгляд в недра коллекции, следя нежные овалы, лепку эмалевых наплывов и изгибы, сладостно мутившие голову. Это было крохотное прибежище недоступного природе совершенства, шаткий плот в океане варварского бытия. На познание фарфора Пиводелов положил годы неустанного труда и теперь по осколку мог определить родословную изделия — эпоху, школу, манеру рисунка, сырье, место и метод обжига. Познание необозримо расширило сферу его страсти, создало замкнутую, невнятную профа-

ну, систему ценностей — изысканный и многообразный мир фарфора.

Чаши раскрытые, как женщины, и вытянутые, как стебли, легкие, как травы, и могучие, как стволы, сочетали в себе гибкость змей и танцовщиц, лазурь неба и волнение вод — всю чувственную прелесть мира, отлитую в нетленные формы.

"Человек жить хочет — и тем дрянь, — неожиданно сформулировал Пиводелов, — тем он — трус, тем он — упоенный насильник и сладострастный раб. Он тиран — и опричник, кат — и убийца, допытчик — и злоумышленник, демагог — и исполнитель, вертухай — и урка. Человек всегда существовал в этих ипостасях, только названия менял, чтобы затемнить их суть. Оттого и бежал он в изысканные лепные формы, чтобы забыть — себя и мир свой — в совершенстве и безмятежности творения. Это не жизнь передо мной, не природа в ее оттапливающей и бесконечной склоке — это воспоминание о красоте, увиденной в детстве, когда окружающий мир — сказочный дворец, а не тюремная камера.

Мне ли не понимать этого. Кто, как не я, домоуправ, барахтается в грязи и с изнанки знает жизнь людишек!

Да, я домоуправ и горжусь этим. За мною и приписки, и взятки, и материалов — Шереметьевский дворец в пору отгрохать. Так ведь лихоимством и царство стоит. Чем и стоять ему, когда от века одни сеют и пахут, а пожинают другие? "У коммунии полцарствия в ворах", — как на заре эпохи пели, пока в закон камеру не взяли, в страх.

А коли власть припустить догадается, так и воровать даст.

Даст! И не пошатнется, в накладе не останется. Положит среднему человечку тысячу, к примеру, на месяц, чтобы концы едва сводил — и воруй себе на здоровье. Только лишку не хапай, до трех — и баста. Почему до трех? Да потому, что три тысячи и так положить можно — да тебе-то невдомек. Вот ты недостающие две тысячи воровством и возьми. И живи. Воров живи, в страхе, грешок за собой знай. А будешь грех поминать — тут и лепи тебя — хоть в зал, хоть на трибуну. Уж так распинаться станешь, что заслушаешься. Слаб человек грехом, а власть сильна.

Да, вор домоуправ. Вор и доносчик. Райотдел МГБ инициативы снизу требует — как не проявить? А иногда и самому сгодится: кляузника Авдеева, к примеру, описать, коли добром не отступится. А что писать — опер продиктует, ему за это паек идет. Вот и фантазирует. Вчера на электрика Николая надиктовал, что он властям не доверял. Электрик этот — мелкий вор и спекулянт, а пойдет теперь по статье за недоверие, за то, что не эвакуировался в сорок первом. Затейник наш опер. Однако партитуры придерживается, не из головы фантазирует. Этих недоверчивых всю войну понемногу тягают. И поделом: власти из Москвы деру дали, а они, видишь ли, сочли, что напрасно. Умные очень.

Однако под недоверие и меня замести могут — тоже не бежал. И еще миллиона два по Москве. Нам, впрочем, миллионов не жаль, куда их — капиталисты мы, что ли! Недоверчивых не станет — других найдем. Не подскажут, какие в моде, так опер сам сообразит. Быть того не может, чтобы сажать стало некого! Врагов, что ли нет? Друзья, значит, все? Нет, это не они друзья, это ты — саботажник. Некого — сам садись. Так что и у опера свои заботы. Пошлые, опереточные.

Фарс — мир человеков, постановка безумного садиста. Но если из кровавой грязи своего существования сумел человек вылепить эти нетленные фарфоры — то тем одним и честь ему. И мне — за то, что сохранил, из-под сапожищ выхватил.

Какая жизнь увенчана подобным собранием? И оно — мое. Все эти бесценные фарфоры — мои, мои, мои!

Мои — и что?.. — Пиводелов вздрогнул, почувствовал подвох. — Чем мои эти фарфоры? Что я их вижу? Что живу среди них? Но и служитель музея живет среди драгоценных изваяний. Так на что же я жизнь положил? Не проще ли было стать пьяницей-истопником или сторожем? Столько ума, риска, сколько интуиции и вкуса — и все, чтобы сравняться с безграмотным служителем? — Пиводелов вскочил и встревоженно заходил по комнате. — Нет, нет! Они мои. Я... владею, я обладаю ими".

Пиводелов двигался все поспешнее, минуя страшное изображение, как стеллажи с фарфором. Он знал. Недолговремен-

но и хрупко обладание смертного, как сама его жизнь. И чем ценнее предмет обладания, тем тоньше стенки бытия, тем ожидание конца страшнее и суевернее. Он знал и, взяв попавший в руки сосуд, прижал лицо к устью зияющей, бархатной и безвыходной пустоты.

"На что же опереться человеку, — гулко и жалобно спросил он, — когда вся-то жизнь — блик на лезвии финки — скользнула и канула. А от лезвия увернешься — так своя смерть нагонит. Оберет она, чище бандита оберет, и все твое чужим станет.

Бог мой, что за пошлая мысль, и за что так мучаться ею? Фарфоры! Кому оставляю — ведь чужие кругом. Детей не нажил, наследников нет. Да и как это — всей жизни плод, за здорово живешь, оставить? Получи, дорогой грабитель, разбазаривай! Да я бы этого наследника своими руками задушил.

Но что же с фарфорами? Продать? Но и крохи от истинной цены не выручишь. Да и не за тем на них жизнь положена. А за чем? — Мысль Пиводелова петляла и шарила в поисках света. Но мрак застилал сознание, как полость сосуда, и бросил его в паническое бегство. — Быстрее заняться чем-нибудь. Бежать, делать... Ведь собирался. Ах, да, жалобы! Авдеев...

Домоуправ запихнул в карман остаток выручки за национальные фарфоры и выбежал на улицу. Дорогой припомнил, что по справкам, наведенным у Ибрагима, Авдеев — это мастодонт, который орал на весь двор про бесплодие Данаурова.

"С него чертовщина всякая и полезла жизнь засорять. Светлую. Прозрачную. Выдержанную. — Тут Пиводелов выругался. — Вот выдрессировали коммунисты — собственную жизнь как коньяк расписываешь".

* * *

Авдейка заметил Пиводелова по лицу деда, осветившегося плотоядной, ничего хорошего не предвещавшей улыбкой.

— На ловца, — потирая руки, проговорил дед, мгновенно отрезав Пиводелову путь к отступлению. — На ловца и зверек бежит. Так?

— Кляузы пишете, — обратился домоуправ в пространство.

— Напрасно. И прописка не оформлена. Другой бы докладную составил — и нет вас. А я договориться пришел, добром.

Дед сладострастно хохотнул.

— Взятку даешь? Мне? Ну, уважил! — Вождеденно дыша, он склонился над невозмутимым и бестрепетным домоуправом. — Ах ты, погань. И как это я тебя просмотрел?

— Десять тысяч, — сказал Пиводелов.

Дед рывком выпрямился, и барахтающийся домоуправ оказался поднятым к потолку.

— Не выбрасывай его, дед! — закричал Авдейка, заслоняя окно.

Дед повертел домоуправа, очевидно, не зная, что с ним делать дальше, а потом подцепил задранным кителем за крюк, торчавший из-под лапы медведя, и отступил на шаг. Домоуправ повис — двумерный, как человек одной страсти.

— Вот ты каков! — сказал дед, любуясь Пиводеловым. — Да ты весь-то с хорька, вот и проглядел.

Пиводелов висел и ждал. "Порезвится и снимет. А деньги возьмет, все эти хамы одним миром мазаны".

— Десять тысяч, — бестрепетно повторил домоуправ.

— Упорный. Ценю. Но и ты меня оцени. Вот медведь. Сколько в нем гордости да мощи! А я его — одним выстрелом снял. Красавец, гигант — и мертв, а ты жив. Как это понимать? — И забывшись, отворотясь от настенного домоуправа и глядя под ноги на резную тень тополиной ветви, дед ответил самому себе:

— Несовершенство. Сила силу ломит, а червь торжествует. Вот я списан, вроде как погребен заживо, а ты цветешь. В чем тут дело? Мы контру сломили — и свою, и пришлую. Нас мечта вела, мы лучшими бойцами в фундамент легли, чтобы народу власть дать, чтобы он жизнь свою строил, какой мир не знал. Врагов сломили, а червей плодим. Видно, в завязи червоточину носим — не вычистить.

"Мир-то все знал, что тебе, хаму, поинтересоваться недосуг было, — отметил про себя Пиводелов. — Однако смел, отца народов и словом не помянул. Уж, не революционер ли какой? Политкаторжанин? Или извели их не всех? В фунда-

мент он ложился! Народу власть дать хотел! Какому народу? Над кем? Да откуда тебя выкопали, дорогой мастодонт?"

— Всех вычистить, тогда чисто станет, — равнодушно посоветовал Пиводелов.

— Издеваешься, гад! — взревел дед. — А ну, повторяй: "Я хорек вонючий!"

Пиводелов повторил.

— И еще, чтобы не забыл. Сто раз! Считаю, Авдейка.

Пиводелов вздохнул, и нижняя пуговица его кителя отлетела. Пиводелов опустился на кительную ступеньку, а пуговица перелетела комнату и упала к постели бабуся. Небесная полусфера, клейменная пятиконечной звездой, она покачивалась на металлической петельке по-человечески неуклюже и грустно, а бабуся глядела поверх нее в глаза человеку, висевшему на стене — и не находила глаз.

— Еще звездочку солдатскую приладил, сволочь, — сказал дед и поднял пуговицу. — Люди под ней смерть принимают, а ты... А ну, повторяй!

— Я хорек вонючий... — начал Пиводелов.

Он ощутил болезненно натянутый китель и в нем себя — старого, слабого, нелепо подвешенного на крюк и твердящего какую-то глупость. "Балаган, бездарный балаган, только я в нем зачем?"

— Я хорек вонючий... — повторил домоуправ.

Он повторял, повторял, повторял и опускался ступеньками кителя, и пуговицы разлетались по комнате. Авдейка подбирал их, складывал горкой и старался взглядом помочь человеку на стене, но взгляд проваливался.

"Стрелять, — думал дед, — вернее не придумаешь. Вот с этого хорька, что домом правит — и начать. И Гришку. И Каулина, следователя. И тройку ОСО. И конвой. И вохру. И стукачей. И понятых — за свидетельство. Понятыми неправда стоит, их молчанием и трусостью. До чего дожил — великий народ в понятые занемотили!"

Дед пошатнулся, оперся о стол, и тут же бесшумно и явно виновато легла на стекло перед ним круглая дыра, ударило в плечо и закапала кровь на бланк оперативного донесения. Ка-

пало все быстрее, кружа голову, но боли не было, а за окном раздался оборванный мат, вой и топот по живому.

— Кажись, Карпушкин, четвертой бригады, — услышал дед, — из забритых...

— А чего по штабу палит, сволочь?

— За родных, видать... С Нижнего порядка они, с речных, что в заложники брали.

Дальше вступал голос Карпушкина, пробившийся на миг сквозь кровь и блевотину, и дед челюстями заерзал, чтоб не помнить.

А боли не было, только кровь капала с плеча и думалось легко, что с этими тремя дивизиями, что сколотил наспех из окрестных сел, он по всей форме командарм. Так с тех пор и почитал себя командармом, а кровь все капала.

— Что с Карпушкиным прикажете? — это уже ординарец спрашивал.

Потом кровь увидел — и побелел. Дюев ему была фамилия, всегда на кровь белел опасно, волк лютый, не человек.

— Так что с Карпушкиным?..

И так нехорошо стало деду, мысль потянула тошная, что не умереть разом — жить еще, доживать...

Он хотел взглядом удержаться за человека на стене, но соскользнул взгляд, и голова упала в огромный разъем борцовских рук.

"Сосна, — брезжило ему сквозь рябь, — сосна на песчаном откосе. Ну да. — Взгляд его опустился по узловатым рукам, упиравшимся о стол. — Вот так упиралась сосна на два вертикальных корня, а я сидел с пулеметом в песчаном выеме и стрелял почти под отвес, снимая прущих от воды краснозцев. Но краснозцев ли? На Дону ли? Только реку и помню. И солнце, как оно ломалось о воду и шелухой лезло в глаза, слепило и сбивало прицел. А бой близкий шел, у самой воды. Там еще Ваня Ильменев погиб, родная душа, с первой войны друг. Так рекой и смыло. А она все текла — рябая, проклятая, поглощенная собой. И принимала в брюхо товарищей. И тех — тоже. И правых и виноватых, равнодушно, как жующая идиотка, которую заголили парни на Ставропольском большаке. Поди, и сейчас течет. Но что за река, что за бой?"

Пиводелов повторял вонючего хорька, давно не слыша себя и не понимая смысла слов. Мальчик смотрел на домоуправа. Прорезанная пучком взгляда, открылась Пиводелову дымящаяся розовая мгла, безысходная полость, страшная тем, что она была им самим. Стиснув дыхание, Пиводелов осматривался в себе. Склизкие, замкнутые и податливые своды обозначали пространство, и темнота — покров, истлевший во внезапном свете, — обнажила розовую и нежную пустоту. Летучими призраками метнулись на свет страхи одинокого и мучительного конца. Пиводелов зажмурился — и свет погас, и булькнула искаженная и сдавленная полость. Он сбился со счета и замолчал.

Дед поднял голову, взглянул на домоуправа — и опять взгляд не удержался, словно по пустоте скользнул. "Ба, да он не жилец, — решил дед. — Тут не в голове моей дело и не в глазах — смерть его застлала, вот и без лица. Видел такое. И стрелять не надо — сам кончится. Однако ловко я его пристроил! — Дед почувствовал прилив сил и воспрял духом. — Есть еще силушка, не изменила. И, если наворочал по жизни чего лишнего — так от удали. Не щадил голов, но и своей не прятал. Меня бы раньше под топор — в Пугачевы вышел. Да не опустился топор, вот и шестерю восьмой год. А и Пугачев — сползи он с плахи живым — в кого бы сполз? Нет, уж как начал, так и кончай. Тут тебе и слава, тут и удел.

С ума я схожу на приколе, вот в чем фокус. Война идет, а я врагов ищу, стрелять хочу кого ни попадая! На фронт меня не пускают! Да что я — ребенок — позволения выпрашивать? Пойду — и баста! Оно, конечно, далеко и нелепо — но это другому нелепо, не мне. Гришки, поди, весь фронт заградотрядами перекрыли, вот с них и начну. Свои враги всегда ближе. Рано они меня списали — жив еще, годен. Хоть под пулю — а годен".

— Будет тебе, — сказал дед Пиводелову, с плакатной лаконичностью вписанному в белого медведя. — Отпускаю. Иди, подыхай. Покуражился над людьми, постудил, поразорил, по миру пустил — и будет. Спасибо, настоящей власти тебе не дано, швалью подохнешь, домоуправом".

Пиводелов услышал, и глаза его полыхнули желтым. Все отчаяние его перед необратимым и одиноким концом, стало в яростном усилии, которым он сорвал последнюю пуговицу и спал с крюка.

— Да что ты знаешь о власти! — выкрикнул Пиводелов. — Мне власти не дано! Мне! Этот жалкий дом, набитый пьянью и краснорожим сбродом вроде тебя — это моя власть? Недоумок! Да сотен таких баранов, как ты, не хватит, чтобы мысль одну вместить о моей власти!

И Пиводелов унесся, клопочущий и гневный, как поток.

Он миновал Данаурова, поднятый как на волне, на бортах распахнутого кителя и остановился, вынесенный яростью в центр двора. Там он запахнул китель и осмотрелся. Неправдоподобный, как пугало, торчал он из кустов картофеля, а потом плюнул на три жилые стороны Песочного дома и навсегда забыл о нем.

* * *

Скрывшись в своей фарфоровой обители, Пиводелов с особой тщательностью запер за собой дверь и прижал к груди дрожащие руки. Потом с отвращением сорвал с себя китель и тут же, в прихожей, облачился в костюм о двух бортах и четырех пуговицах. После этого он стал на пороге сокровищницы, и мысль его брызнула разноцветными глазурями.

"Власть, одна власть выделяет избранника из этого жуткого сброда! Но что она, власть? Обладание? Но обладание статично, оно удел раба, потому что поработщает владельца. Нет, только в реализации являет себя великая идея. Так в чем же реализация власти? В чем же ее природа, ее высшее совершение? — Пиводелов замер. Еще не ответив себе, он знал. Он потому и спросил, что знал. — Уничтожение! Вот дар власти, нестерпимый дар, равняющий человека с божеством. Он редок, как дар созидания, и столь же неистребим. Уныла долина жизни и населена призраками. Но взгляду избранника сверкают две образовавшие ее вершины — созидание и разрушение. И лишь избраннику дана воля подняться к одной из вершин и увидеть скрытое от человеческих глаз. Мне дана

эта воля и ум, и неуязвимость. Мне — паяцу, приколотому к стене балагана.

Пусть несоизмеримо мое деяние с разрушением цивилизации, но лишь количественно несоизмеримо. Един путь материи, и я совершил его до конца, и в глазах моих радуга.

Я завоевал эти несравненные фарфоры — и я разрушу их. Я осилю вершину, и тем в одном себе воплощу прошлое и будущее этого мира. Я не стану подобно дряхлому диктатору ждать, пока скипетр вывалится из моих рук. Я сам не оставлю себе надежд — и тем выйду за пределы человека. Я ненавидел человека с тех пор, как узнал — и выйти за его пределы дано мне в награду.

Пусть я сумасшедший сейчас, но кому, как не сумасшедшему, открывается прозрение? Или паюсная душа толпы может его вместить? Я готовился к своему пути, изучая, подобно паталогоанатому, человеческое прошлое — огромный раздувшийся труп — и болезни живых открылись мне. Но превыше всего отвращала меня христианская ложь о добре и бессмертии души, все эти измышления о высшем суде и потусторонних прелестях, которые второе тысячелетие покрывают истинный облик жизни, как толстый слой подкожного жира. Нынешнее государство не нагуливает себе расслабляющих иллюзий, оно мускулисто и жизненно. Оно облегчило своих православных чепядинов до их пещерной сути — и вышли кровавым потом все нагуленные ими верования, идеалы и добродетели. Оно реально, и поэтому его единственная реальность — власть — перешагнула грань реальности, стала высшей и самодостаточной целью, фантомом, уравнившим овна с пастухом, равно приносимыми ему в жертву.

Вот он, вожделенный Третий Рим! Совершилось! Где вы, православные реформаторы, пророки и краснобаи, взалкавшие мирской власти и предавшие свою церковь под государственную руку кровавых маньяков? Не всех же вас они на кол посажали и в расход пустили — так отчего ликования не слышно? Не тот Рим вам подсунили? Тот, родимые. Третий, а Четвертого не дано, сами пророчили. Вот и воплотилась мучившая вас похоть к власти! Был Рим христианства — Рим ла-

тинян и Рим греков — а стал Рим канализации, по трубам которой гонит народы, как ошметки овеществленной метафоры.

И я счастлив! Я живу в незамутненном, истинном мире, где люди получают по цене своей. Я понял, к чему они стремятся еще летом семнадцатого года. Я свернул с их пути — и стал безумцем, как всякий, не разделивший всеобщего безумия.

Я видел, и тем был избран. Мне, избраннику, — прозрение власти и право ее совершения, и сумасшествие прозрения, если на него обречено величие человека.

Герострат — плебей, тупой уголовник, уничтоживший то, что не создавал. Поджог его — тщеславное преступление, доступное любому проходимцу. Он идею скомпрометировал — и за то казнь ему во веки веков.

Истинное свершение власти — не преступление, но деяние. Оно не публично, потому что не нуждается в одобрении. Оно жертвенно, интимно и тайно, оно осуществляется ночью, как зачатие и убийство".

— Совершение власти! — воскликнул Пиводелов, оглядев фарфоры. — Вот, что предоставила мне судьба!

Он поднял фарфоровый молоток и нацелился на кувшинчик в бронзовой оплетке, в то место его, где раскрытый, как для удара, торчал лепной цветок — но на грани усилия остановился, замер с поднятой рукой.

Что-то шепнуло ему о глубочайшем счастье сдерживания себя на краю свершения, о счастье власти над властью. Оно талилось сокровенным даром его замкнутой, пустынной и розовой души, и только теперь обнаружилось себя.

Он вдруг вспомнил, что сегодня пятница, день, отведенный для одутловатой уборщицы — и решил, что не впустит ее. Женщина никогда не открывала ему этого высшего счастья обладания; с нею он торопился, брезгливо выжимая из себя струйки пошлой радости, содержащейся в любом проходимце.

Отложив молоток, Пиводелов трогал, нежил в ладонях, дышал на глянцевые поверхности и лизал затуманенные овалы сосудов.

Потом, освободив пространство пола, он стал снимать фар-

форы со стеллажей, пытаясь составить обозримое взглядом гармоничное целое. Сосуды сталкивались и гудели с многогласием толпы, но оставались несочетаемы. Пиводелов отступился, принялся расставлять фарфоры на их привычные места, и они ожили в его руках.

Они дышали и гулко жаловались, они рассыпались смехом и воркованием, они прельщали женственными изгибами и вспыхивали глазами ребенка, они молили и угрожали — они жили тысячами жизней, поколениями мастеров, искавших тайну совершенства и хранивших ее под пытками, обжигавших руки в печах, стиравших ноги в поисках глины, терявших зрение, сон и веру — и все же укравших у небытия волшебный миг, запечатлевших свои измученные души в божественных и неповторимых формах.

* * *

— Нет, хоть и толпой стоим, да не вместе, — заявил дед, когда захлопнулась дверь за клопочущим домоуправом. — А вдвоем сойдемся, вроде как с этим, так одна нелепость и выйдет, когда не кровь.

Авдейка увидел, что дед кротко уменьшился в росте и принялся чесать затылок.

— Эк, пробрало его на краю, даже и человек вылез, — продолжал дед. — Это мне-то, командарму, власти его не вместишь! Любопытно! Тихий висел, хорька повторял — и на тебе! Чем это я его достал? Нет, не понять нам друг друга...

— Так ты его, чтобы понять, на стенку вешал? — спросил Авдейка.

Дед не замечал, что говорит вслух и смутился.

— Рассмотреть хотел — вот и повесил. А и не повесил бы, не сговориться мне с мерзавцем. Уж поверь.

Дед увидел, что внук его сидит рука в руку с бабусей и как бы ждет от него чего-то. Тогда он встряхнулся, выпрямился и наметил место на полу возле столика, опустившись куда, он мог оказаться между внуком и Софьей Сергеевной. Он на секунду придержал себя на пороге незнакомого и, как показалось, старческого желания. Напоследок подумал: "Что

и говорить, права Софья Сергеевна, наплескал я по жизни. Однако к правде греб и пощады не просил. Уж куда меня отнесло — дело десятое, а и там в придурки не вышел. Гол человек в застенке, к истине близок, да неухватиста она — ломанет и сгинет. Великая мысль разлита в мире — она и сверкнула в степи под Волочанском. Я не осилил — так другой кто. Внук. Но есть она — и мне сверкнула”.

— Тут вот какое дело, — дед кашлянул и опустился в намеченное место у кровати. — Бой один припомнил, рассказать хочу.

Но не сложился в слова забытый бой. Несколько раз принимался дед рассказывать, откашливался, сопел, грузно ерзал, вживаясь в место, пока Авдейка не обнял его, и тогда дед затих, оберегая легшую на него руку.

Брезжили в памяти все те же срывавшиеся фигурки, выем под сосной, жар и река, и осыпающийся песок, и желтые следы на откосе. Казалось, около сотни бойцов там легло, не меньше. Оружие с них снимали, а потом лодки рубили. Жаль было лодок, да с собой не возьмешь, бой на отходе давали. А когда стихло и поднялся дед в рост между корней, то посмотрел вверх — и ахнул. В небо уходила сосна, безмерную высь подпирала. Ствол был жестоко иссечен пулями и под сбитой корой младенчески розов и влажен.

”Эк, какой вымахал, — подумал дед. — А ковырни — то же дитя”.

* * *

Безмолвная ночь текла серебром, бежали тени, спал под ватником мальчик с кнутом, лошади укрылись в дрему, и все живое попряталось на краю пропасти. Щербатой пропастью было подлинное, не ослепленное солнцем небо, и ни огонька не светилось на ее краю. Авдейка заглянул в глубь выжидающей тьмы, вскрикнул, обхватил теплую лошадиную шею и прижался к ней лицом.

— Новолуние, — сказал старик.

Ночь новолуния все дрожала в глазах Авдейки, когда небо уже заволкло дымным рассветом, и ничто не напоминало

земле о ее уязвимости. Грохотали эшелоны на железных путях, тяжелый мазутный дух висел над станционным зданием, и толпа с мешками, торбами и деревянными чемоданами теснилась вдоль рельсов. Люди стояли во весь перрон, как газетные знаки — законченно, плотно, молча. Но, когда на облаке пара выплыл свистящий паровоз, толпа смешалась и, отбросив Авдейку, с воем облепила поезд.

Авдейка метался между гроздьями людей, висевших на вагонных дверях, и, наверняка, не попал бы на поезд, не будь родственника графа Толстого. Могучей рукой он опустил окно, перегнулся и втащил Авдейку в вагон.

— Сидай, хлопец, — сказал родственник графа и расчистил Авдейке место на грязном полу между лавками. — Вот пободит, тоды и гроши зроблять поидэ.

— Что? — спросил Авдейка.

— Деньги зашибать, — пояснил на ухо родственник графа, утрачивая малороссийские интонации. — Басурман ты, что ли, слов не понимаешь?

— Я понял, — ответил Авдейка, вторично принятый за басурмана.

Он заснул, примостившись в ногах между мешком и плетеной корзиной. Зашибание денег он представлял игрой, похожей на расшибалку, и поэтому был удивлен, когда родственник графа, разбудив его, быстро повел по вагону через освободившийся проход.

В тамбуре родственник повел себя странно. Он вытащил из нагрудного кармана дамское зеркало, заглядывая в него, вывернул веки, потом растерзал на груди гимнастерку, сунул в руки Авдейке фуражку и повел в следующий вагон.

Там родственник прокашлялся и сказал: ”Дорогие братья и сестры!” Больше Авдейка ничего не понял из-за страшных завываний, сопровождавших его речь. Окончив, он двинул Авдейку вперед, цепко держа за плечо и запел:

В имени Ясной Поляне

Жил граф Лев Николаевич Толстой...

У Авдейки ноги подкосились от обрушившегося воя, но родственник поддал ему коленом и потащил впереди себя че-

рез мешки и вытянутые ноги. Другой рукой он больно сжимал Авдейкину шею, заставляя ее склоняться в разные стороны, откуда в фуражку сыпалась мелочь и мятые рубли.

К концу вагона Авдейка освоился, понял, что от него требуется и даже разобрал конец песни, из которой и узнал, что имеет дело с родственником графа.

В следующем вагоне Авдейка познакомился с ним ближе. Родственник оказался внуком графа Толстого, но каким-то неудачным, незаконнорожденным. Внук сильно горевал по этому поводу, но дедушку любил и слушался. Дедушка у него был хороший и простой, хотя и граф. Он совсем, как Сопелкин, не кушал ни рыбу, ни мясо и ходил босиком. Но у дедушки графа была плохая жена Софья Андреевна. Она ела рыбу и мясо. Босою она не ходила, щадила дворянскую честь, и это было так невыносимо, что внук зарыдал в голос.

Граждане разделяли чувства неудачного родственника, и монеты из их натруженных рук капали в фуражку, как слезы.

Граф написал роман "Анна Каренина", но та бросилась под поезд. Дети в вагоне беспокоились и вскрикивали. Авдейка спотыкался.

"...и роман его "Воскресенье" читать невозможно без слез", — заявил родственник. Старушки понимающе кивали и развязывали белые платочки. "Вот так разлагалось дворянство..."

Темные старческие руки крестили Авдейку, плачущего от наплыва чувств, и с крестьянской обстоятельностью складывали деньги в фуражку подкидыша.

— Слеза! — воскликнул фальшивый внук, когда вагон остался позади. — Слеза, говорю, была?

— Была, — ответил Авдейка, всхлипывая.

Родственник отвалился к стене тамбура и стал отпивать водку из початой бутылки, делая замеры большим пальцем.

— То-то. Слеза в нашем деле — главное, это ты усеки. Без слезы —дохлое дело, копейки не выжмешь.

Потом родственник вздохнул по-лошадиному грустно, и с сожалением спрятал бутылку. Засунув палец в фуражку, он помешал деньги, как кашу, бумажные отобрал себе, а горсть мелочи отсыпал в ладонь Авдейке. Подумав, он артистичес-

ким движением забросил в фуражку рубль, а помедлив, — другой.

— Мера, брат, — объяснил он. — Много лежит — граждане подумают — и без нас не пропадет. Мало лежит — подумают — не дают ему люди, и мы не дадим. Вот теперь — в аккурат.

— Жулик ты, а не родственник, — неожиданно заявил Авдейка.

Фальшивый внук глубоко задумался.

Авдейка высунул кулак в выбитое дверное окно, выпустил деньги на волю и услышал:

— Добро переводишь.

— Поднимут, — ответил Авдейка, не оборачиваясь.

— Дивись! — родственник задрал гимнастерку и показал грудь в розовых шрамах. — Нет, ты дивись на дела рук фашистских извергов.

— Вижу, — ответил Авдейка и снова отвернулся.

— Вот беда, не заработаешь на них ничего, — объяснил фальшивый внук. — Больно много нашего брата в шрамах ходит, вот и приходится с глазами придуряться.

— У моего деда страшнее шрамы, а он на фронт идет.

— И берут? — неожиданно заинтересовался родственник, оправляя гимнастерку.

— Берут.

— Слушай, — зашептал фальшивый внук в спину Авдейки. — Может, у него знакомый какой есть? Врач знакомый, а? Ведь клеют же липу всякой сволочи, чтобы на фронт не идти. Так и наоборот же склеить можно, а? Шепни адресок, пацан. Деньги у меня есть — дом продам. Я его все равно пропью. Что я здесь? А там я человек. Красной армии сержант, наводчик орудия. Может, успею, пока война не кончилась. А, пацан?

Он повернул Авдейку к себе, но тут же опустил руки.

— Эх, куда там...

Одно веко родственника разочарованно опустилось, а другое оставалось залихватски заломлено и обнажало трансцендентный ужас голого человеческого глаза.

Авдейка полез за пазуху и, взглянув в натруженные глаза, опустил в фуражку сторублевку дяди Коли-электрика.

— Возьми.

— Стыдно, — сказал родственник и взял. — Стыдно. Эх, жизнь наша, колеса. Вмазать бы куда, чтоб вдребезги...

Авдейка вернулся в вагон и примостился на чемодане у окна.

— Много ли собрал, сердешный? — спросила его чемоданная старуха.

Авдейка увидел на ней нос, знакомый по Бабе Яге, и на всякий случай не ответил.

За окном поезда чередовались станции,плыли избы, крытые соломой, сломанные тракторы под навесами, чадающие грузовики, памятки и телеги. За поездом бежали дети, а коровы и бабы отрывались от дел и провожали его вдумчивыми взглядами. Жизнь, стиснутая высокими стенами Песочного дома, необозримо растеклась по равнине — медленная и редкая, как в испортившемся кино.

Неожиданно поезд без видимой причины затормозил и остановился посреди некошенного луга. Вагон суеверно притих. Махала хвостом корова, отгоняя слепней, блестела речка, валялась замысловато изогнутая труба, и звучала печальная повесть о разлагавшемся дворянстве.

Это было долгое разложение, которое окончилось не раньше, чем поезд приехал в Москву.

* * *

Наискось пересекавшее пространство, движение текло в синих плоскостях стекол — неверный и легкий бег — бег ручья, звенящая, оплодотворяющая нить. Прыгнув к роялю, Лерка стал наносить на клавиши это движение, следя короткие импульсы, которые оно сообщало застывшему пространству, возбуждая в нем ответные звуки и, в сопоставлении ритмов рождая время, созвучие, музыку. Пульсирующий бег раскачивал пространство, вызывая к жизни новые, заглушающие его темы, и рояль превращался в оркестр из стонущих и ликующих голосов. Едва успевая запечатлеть их на стертых клавишах. Лерка хватался за нотные листы, холодея от страха, что записывая, упустит миг, собьется, нарушит пласти-

ческое и точное развитие вещи и, выверяя себя, возвращался к звенящим, переливающимся ноткам — ручью, бегущему пространством немого хаоса.

* * *

Мелодия материализовалась в единственную реальность, а за гранью ее, в неверном и призрачном мире, раздался резкий звонок и щелкнули запоры парадной двери, пропуская вернувшегося отца.

— Ну, как тут? — спросил генерал. — Все живы?

Мать внимательно рассматривала его сапоги, мельком вытертые о щетинистый коврик, и не отвечала.

Неделю назад, взяв в руки пистолет, брошенный сыном, и беспредметно щелкая курком, она поняла, что жизнь ее миновала, распалась, как лепестки траурного тюльпана "Филипп де Коминес", а она беспечно просмотрела ее. Жизнь всегда обходила ее стороной, не сбываясь, не затрагивая того главного, из-за чего, верно, и дана была, и вот миновала, оставив легкую пыльцу сожаления — пыльцу на пальцах — невесомую, невозполнимую.

Убрав пистолет, она не бросилась следом за сыном, только взглянула через порог спальни, прикрыла дверь и ушла к себе. Всю неделю глухое молчание висело в квартире, и всю неделю своими точеными и полупрозрачными руками она перебирала дорогие безделушки на туалетном столике, думая о том, что растворилась в любви к мужу и сыну, забыла о себе — и потому забыта ими. Она переставляла по холодному малахитовому столику округлые и изящные безделушки, вехи жизни, а потом неожиданно разделась донага, поднялась перед зеркалом на сафьяновую табуреточку и стала разглядывать свое тело, удивляясь, зачем оно. Она разглядывала это тело, исполнившее все, что должно было исполнить — принявшее в себя мужчину и исторгшее дитя — и сожалела о нем, как о бездомном животном.

Потом она замерла и, одеваясь, подумала, что никогда не понимала самых простых вещей, а вернее, силилась понять эти самые простые, не поддающиеся объяснению вещи, и пото-

му всегда испытывала смутную неудовлетворенность жизнью. Ей мелькнуло, что воспитывая сына в своей постоянной неудовлетворенности, она тем самым развила дар, едва не погубивший его. Но думать о сыне было страшно — и она не думала.

Она ни о чем не думала, ничего не ждала и теперь рассматривала сапоги генерала столь пристально, что, перехватив ее взгляд, он вернулся на коврик и раздраженно проговорил:

— Я с фронта. Могу я наконец узнать, что происходит в моем доме?

— Спроси, может, он тебе и расскажет, — ответила она, неопределенно махнув рукой в сторону комнат, но почувствовала внезапную тревогу за сына, возраставшую беглыми аккордами, и тогда поняла, что слышит музыку.

Отстранив жену, генерал угрюмо двинулся в глубь квартиры, раздвигая свободный поток мелодии, и, уже взявшись за ручку двери, застрял возле Леркиного кабинета. Генерал вообще не разбирался в музыке, но то, что играл сын, остановило его динамической точностью звучания, доступной красотой хорошо скоординированного оперативного плана. Он вспомнил, как в Польскую кампанию предложил свой первый план, послуживший началом его возвышения. Составляя его и оттачивая в деталях, он постоянно ощущал упругость противостоящих сил и ею поверял действия войск, гармоническую и целостную картину боя.

"На пути парень, — решил генерал и ушел, вторично отстранив жену, попавшую на пути. — Пусть работает".

— Спроси его... — начала она.

— Некогда, — бросил генерал через плечо. — Да и незачем.

Мать осталась одна, слушая и не узнавая мелодии, которую играл сын, и оттого, не понимая, где находится. С варварской силой вздымались звуки.

...террасы белого камня, истертые ступени, акведуки, пепел, вода...

Она обнаружила себя забытой в полутемном коридоре, зарделась от стыда, и тут же все возмутилось в ней.

* * *

Четверть часа провела она за туалетом, а потом властно постучала в кабинет мужа и вошла, не дожидаясь ответа.

Генерал, крутивший в руках шестую пулю, которую по давнему суеверию всегда носил с собой, сунул ее в нагрудный карман и поднял глаза на жену. Грациозно качнувшись, она прошла кабинетом и села по другую сторону стола.

— Мы переезжаем, — сказала она.

— Вот как?

— Вот так. У меня один сын, я не хочу, чтобы он застрелился.

— А он хочет?

— Ты слепой? Ты не видишь, что происходит с твоим сыном?

— А ничего не происходит. Возраст хулиганский, не больше.

— Я тебе говорю, он хотел застрелиться!

— Чтобы застрелиться, одной пули хватит, можешь мне поверить. Оставим это.

— Что ж, оставим. Но я хочу, чтобы он жил в ведомственном доме. Ты не знаешь, как действует на него эта публика. И на меня. Я даже собаку завести не могу — стыдно, видите ли. И стыдно, когда вокруг дети голодные. Хватит. У меня одна жизнь, и я не хочу голодных детей. Я хочу собаку. И хочу, чтобы сын рос среди детей приличных.

— Не люблю приличных детей, — задумчиво произнес генерал. — Плохие бойцы из них вырастают.

— Ах, вот как, плохие, — со скрытой издевкой ответила мать. — А как же русские офицеры — ведь из дворян выходили. И неплохо воевали — вон какую империю вам оставили.

Генерал вскинул брови, потом не слишком искренне хохотнул и ответил:

— А что мы с этими офицерами в гражданскую сделали? То-то. Так что, давай не забывать уроки истории, как учит товарищ Сталин.

— Но ведомственные дома тоже не я придумала, — ответила мать, чувствуя, что ее понесло и нимало не противясь этому. — Думаю, без товарища Сталина не обошлось, а? Так что в

этом вопросе у нас с ним смычка, как теперь говорят. И в том, что погоны вам вернули — тоже. Только что с аксельбантами, скоро ли? Погоны без аксельбантов — это не признак революционности. Это признак дурного вкуса, мой друг, так и передай товарищу Сталину.

— Ты... Ты... — вскрикнул генерал.

Неловко вывалившись из-за стола, он принялся яростно и бесполезно топтать сапогами, утопавшими в ковре.

— Ты в своем уме? Ты о ком говоришь?

— Да, мон женераль, — с печальным презрением произнесла она, рассматривая бесшумно топчущие сапоги. — Долго еще ждать, когда из вас дворяне вырастут. Однако дожидаться этого мы будем в ведомственном доме. Ах, недооцениваешь ты дворян, мон женераль. Не забыл ли ты про моих братьев? Оба дворяне, оба корниловские офицеры. И ведь живы. Ты, кстати, не знаешь, где они теперь? Что ты по этому поводу пишешь в своих анкетах, мон храбрый женераль? И, что по этому поводу думает товарищ Сталин?

И она расхохоталась в лицо онемевшему генералу тем беглым смехом, который он любил в ней когда-то до слабости, до полного забвения себя и места своего в жизни. Это горячая беглость ее дыхания, смеха и даже почерка, всю жизнь делавшая его невменяемым, в один миг восстановила ее неистребимую власть, и, забыв об огромных задачах, о свершениях войны, о своей карьере и проклятых братьях, которых он никогда не видел, генерал опустил в ноги своей немислимой жены и прижался головой к ее коленям.

— Итак, мон женераль, — сказала она, как жезлом касаясь его головы попавшим в руку перламутровым карандашиком. — Итак, неверная сестра предаст своих братьев забвению. Се ля ви. Но конец войны мы встречаем в ведомственном доме. И без дураков, как принято говорить среди будущих дворян.

— Ты понял? — переспросила она, услышав нечленораздельное мычание. — Встречаем конец войны.

— Победу, — глухо поправил генерал, не отрывая рта от ее коленей.

Леркина мать слегка выгнулась, принимая скользкую по бедрам тяжелую голову и, отвернув лицо, следила перламутровые блики, игравшие на карандашике.

"Теленок, — думала она. — Счастливым теленок. В нем-то я не ошиблась. Уж кто счастлив, тот счастлив надежно".

* * *

Небо стремительно гасло, наполнялось гортанным криком, а потом порвалось и упало клочьями.

— Где небо? — закричал Авдейка.

Он стоял у окна, зажав голову ладонями, скрываясь от обнаженной, пустой, разоренной бедствием комнаты. Небо опадало черными клочьями.

— Где небо?

Деда не было. За ним не было деда. С первого взгляда Авдейка понял, что его нет. Время деда иссякло, как иссякло оно когда-то у дяди Пети-солдата, оставив по себе зияющую пустоту.

— Чего встрепенулся? — спросила Глаша, вбегая на крик. — Какое небо? Грай. Вороны галдят.

— Почему их не съели?

— Ты что, мальчишка. Господь с тобой!

— Почему всех съели, а их нет? — спрашивал Авдейка, вырываясь из Глашиных рук и теряя себя от горя. — Почему никого нет, а они есть?

— Никого нет, — подтвердила Глаша, неожиданно забывая Авдейку. — Никого нет, никого...

* * *

Двор был пуст, один Михей-почтальон сидел на парапете под дождем, как был он человек не простой, а авиационного истребительного полка механик. Непростого человека Михей обнаруживал в себе грамм с четырехсот. Но это — если гражданская, упраздненная "рыковка" в белой косыночке, а если чистяк, если родной самолетный — тут другой курс, тут и четвертки станет.

— Нет, ты спроси, — заорал он Авдейке сквозь дождь. — Ты спроси, что мне комэска сказал?

Но Авдейка хорошо знал, что сказал Михею камэска, и спрашивать не стал.

Он вернулся домой, где Иришка вытерла его полотенцем и сказала, что на другой день после деда исчез Коля-электрик, а ночью за ним приходили, искали по всей квартире и даже в диван лазили, но не нашли и опечатали его дверь plombой. Авдейка пошел посмотреть plombу, но в коридоре остановился, представил, как удаляется дед, как падает полоса света из распахнутой двери, и в проеме ее возникает грузная фигура с солдатским мешком на плече и погасает навсегда. Авдейка зажмурился, до пугающей слабости в груди захотел, чтобы дед раскрыл эту дверь и двинулся назад — хоть на минутку увидеть его — ведь бывает так, ведь было это с немцем в кино, который вернулся туда, где был жив.

Но последний раз дед вернулся туда, где был жив, когда подошел с прощанием к Софье Сергеевне и белый ее взгляд встретил.

"Тверда, — подумал. — Спряталась за свою веру, как за бруствер, и глаз не прячет".

Тут он на миг усомнился, на краткий, потрясший его миг, и, ища опоры, вернулся в обжитую память о годах гражданской, где был непримирим, молод и уверен до самозабвения — в бойцах своих, в кабардинском жеребце, в клинке и в победе рабоче-крестьянской правды.

И тогда глядели на него те же глаза — живые и мертвые глядели они — и не опускались до конца'.

Глядела баба в платке, перекрещенном под грудью — в дыму, на пепельной зорьке, преградя путь жаркому жеребцу. "Твои пожгли, начальник, — твои". И не стерпел, прынул кабардинец, когда покатился в копыта чурбачок паленого мяса — и стояли непреодолимо светлые глаза бабы. Но отмел бабу Дюев, ординарец, и забыто, затоптано конями, что рождалось ей сыном. Где-то был ее Бог той пепельной зорькой?

Глядел перед собой и есаул Хомищенко, исходя черной кровью. Не пожалел, загнал кабардинца, а снял есаула наземь и покатился с ним в бурьян грудью о грудь. Дик был есаул в гневе, человека саблей проскальзывал, а проскользнув, над

головой вздымал и кровью умывался. Да только хрустнула его шея, метнулась медная борода и рот, куда успел он ткнуть дулом. Не дался живым есаул, отвалился в бурьян и, как зверя, шарахались его привычные до людской крови эскадронные лошади. Исторглась жизнь из выпученных глаз, и мертвым лежал на груди нательный крест. Кровь позади тебя, и глаза твои пусты. Где Бог твой, Хомищенко?

Ожесточился дед, грохнул об пол сапогом и прочь ушел с белых глаз. Не принял, не допустил. Не стоят на русской земле две правды — не стояли и стоять не будут — и вернее это самой правды!

* * *

Снова заволокло небо, и мелкий дождь тронул лужи. Небо дышало осенью, а Михей искал дом начальника Пиводелова, считывая обратный адрес с бандероли, которая тяжелела и набухала под дождем. Наконец, он нашел дверь с именованным ромбиком и добрался до пупочки звонка своим заскоружлым пальцем бывшего механика. Могучим потоком хлынула трель звонка, сливаясь с тонкими, повторяющимися в сочетаниях звуками, которые раздавались в квартире Пиводелова, как в музыкальной табакерке. Целую неделю бывший домоуправ обходил сокровищницу с фарфоровым молоточком, примеряясь к великому деянию.

Когда мозолистый палец начал отказывать, Михей полез в планшет и принялся вновь перечитывать адрес начальника. И тут пакет лопнул. Он лопнул, оставив в руках Михея сто тысяч рублей. Сам дьявол не мог бы нанести, столь страшного удара по русскому человеку. Михей разом протрезвел и заметался в стенах лестничного пролета, безуспешно пытаясь запихнуть деньги назад, а потом ринулся вон из дома, но, оказавшись на улице, понял, что бежать некуда. Некуда убежать русскому человеку от ста тысяч. Стиснуты они в дрожащей руке, поясницей прижаты к стене дома, и все прохожие, родные люди, превращены этим мигом в неотступных врагов. Ночь с ее страхами и мглами настигала Михея, но как был он человек непростой, то нашел решение, взбежал к запертой двери начальника и стал ломиться в нее, как в спасение.

* * *

Первый панический удар застал Пиводелова врасплох. Он оказался не готов, растерялся, забежал вдоль стеллажей, не зная с чего начать крушение, он всхлипывал и кусал губы, не смея нанести самоубийственный удар. Жалкий, как юнец перед ожидающей женщиной, он потерял сердце, но новый властный толчок придал ему сил.

Пиводелов знал, что ждет его за дверью, но не испытывал страха. Деяние жизни еще было в его руках — а что откроется по его совершению — того не ведал ни один смертный. И чем предстанут с обретенной высоты ломящиеся в дверь конвойные, да и заметит ли он их — Пиводелов не думал. Но деяние ждало, а дверь подскакивала в петлях. И Пиводелов ударил. Звук разочаровал его — кувшин, попавший под удар, сыро и буднично развалился. Пиводелов озлел и стал бить северские чашки двора германских императоров, которые разлетались с порочным смехом. Молоток, задев о стеллаж, сломался. Дверь трещала, и неумолчно звенел звонок, но Пиводелов уже не слышал. Беспорядочно хватая фарфоры, он бил их об пол — колокола звонили и было детство, и розовая изнутри, она ждала, и он падал опять и глубже, и до конца — бам, бам, бам... — и так светло, и все ярче — и уже не удерживая хлещущего из него наслаждения, он слепо смахивал со стеллажей полости сфер, жаждущих раскрыться, и топтал их и, поскользнувшись в фарфоровой чешуе, зарылся в пол, порезав руки и лицо, но миг длился, осыпался блеском и серебряным гулом — он тряс дверцу шкафа — еще и еще — и порфиру бросила под него ночь, и он подмял ее, и тогда царственно качнулась ваза Лунцуаня и рухнула томительно, как во сне, издав целостный и раскатистый гул, перекрывший сладострастный вопль окровавленного Пиводелова.

Еще не до конца очнувшись, незрячий и неправдоподобно легкий, Пиводелов пошел к двери. Когда он вернулся, прижимая к груди надорванный пакет с деньгами, глаза его были подернуты и слепы. Потом в них отразилось движение двух китайских болванчиков, уцелевших среди изысканных руин. Выведенные из оцепенения идола равновесия, они кланялись

друг другу, и на их нависших животах мандаринов играли пятна света.

Внизу, во весь пол лежала чешуйчатая груда черепков, залитая кровью и бликами безумия. Китайские глазури, покрывавшие битый фарфор, подчеркивали очевидное несовершенство пролитой человеческой крови. Болванчики склоняли головы все надменнее и суше, как бы европеизируясь на глазах, и вскоре движение их иссякло, оставив Пиводелова на недоступной человеку вершине совершенства. Движение иссякло, и больше уже ничего не было. Ничего не было, ничего...

* * *

Последним пониманием, дарованным бабуся, был взгляд уходившего Василия Савельевича. Он зашел к ней за ширму уже собранный, с мешком через плечо, и, как всегда глуповато улыбнулся. Но красные прожилки печали легли в запавших глазах, и глуповатая улыбка исчезла. Взгляды их слились в один, потянулись друг к другу, как уцелевшие языки пламени над черным прогаром.

Ушла жизнь, как огонь через лес, и то, из чего они родились когда-то, распалось в пепел. Но на этот миг вернулась к ним молодость, а с нею и непримиримость. Своей изувеченной душой убийцы Василий Савельевич оценил ее твердость — и не принял, не простил, не простясь ушел. Бабуся слушала грохот его мертвых шагов и думала, что этот русский богатырь вовсе и не жил никогда, а бродил по жизни со свободой животного, не ведающего добра и зла.

* * *

Вышел месяц из тумана,
Вынул ножик из кармана,
Буду резать, буду бить,
Все равно тебе водить.

И кулак Сопелки-игрока нашел Авдейкину грудь.

Уткнувшись лицом в сгиб руки и опершись о сточную трубу, Авдейка водил, считая три раза до десяти, а, когда крикнул: "Пора не пора, я иду со двора, кто за мной стоит, тому

три кона водить!" — и обернулся, то не понял, где находится. Внезапная темень обложила двор, небо исчезло, гудела сточная труба и грохотала полоса сорванной жести. Ребята разбежались, Авдейка оказался один в ином, безвременном мире, он шагнул в него, не заметив, миновав страх перехода — и теперь знал, что страшен только шаг — куда бы он ни вел.

* * *

Пиводелов стоял в этот час под дождем за забором Канатчиковой дачи и взмахивал руками, балансируя на вершине недоступного человеку совершения. Потом он промок и удалился задворками сознания.

* * *

Иришка сидела на зеленом поле кровати с синими бантами и отстраненной красотой на лице. Неподвижная строгость ее и разложенный по кругу подол пестрого домашнего платья делали ее похожей на фарфоровую куклу. Опасаясь разбить ее, Авдейка опускался на пол, и Иришка прижимала к себе его голову — в запахи паленой материи и детского тепла. Она ворошила его голову прохладными пальцами, а на лице ее была все та же отстраненная красота. Потом Иришка поднимала к животу пестрый подол, открывая свою последнюю тайну — припухшую рану, раскрывшуюся, как розовая фасоль, — прижимала Авдейку к себе и откидывалась на спину. Безучастная и льняная, Иришка что-то делала с ним, отчего Авдейке было больно, но он терпел, потому что любил ее. Потом Иришка поднималась и, краснея, оправляла платье, а Авдейка сидел с ней рядом, молчал и горько удивлялся стыдному человеческому телу.

Он рассматривал себя в зеркало, которое передвинули в угол, чтобы бабуса не могла наблюдать за своим тягостным концом, а когда уставал удивляться себе, то старался успеть заглянуть в зеркало так внезапно, чтобы не отразиться в нем.

За окном свистел ветер, выдувая серебряные струи. Они текли в неизвестность, обнажая пористые пробоины, сквозь которые дышала земля. До ночи было далеко, но в небе уже висел месяц — кривое и холодное лезвие.

Ночи новолуния, обнажавшие уязвимость Земли, больше не пугали Авдейку. Он потерял отца, дядю Петю-солдата и деда, теперь умирала бабуса — и бояться стало нечего. Он знал, что люди отнимаются не распахнутой звездной бездной, а тем, что они носят в самих себе, называя судьбой. Ночное небо жило ожиданием, родственным Авдейке, он тянулся к нему всем существом — и засыпал на подоконнике, в надежде на то, что когда время людей на земле кончается, они выйдут из своей судьбы и собираются там, в небе, и ждут друг друга. Там, наверное, весело, можно играть и никогда не хочется есть, и это непременно так, потому что иначе люди боялись бы убивать друг друга и не было бы войны...

* * *

К зиме Сахан усовершенствовал свой рваный ботинок, втиснув в него обрезанный носок старой калоши. К тому времени известие о деньгах, посланных на строительство танка, дошло до школы, и Сахана вместе с комсомольским секретарем направили в горком получать грамоту. Секретарь жил в другом дворе и при сборе денег был пришей-пристебай, а вышел вроде бы вдохновителем. Но Сахан стерпел, потому как сам намылился в комсомол и нуждался в рекомендации.

В горкоме Сахан оббил усовершенствованный ботинок о мраморную ступень и остался доволен. Ботинки свои он почитал за козырь и других не хотел. Подумав, он потуже стянул носок обрывком бельевой веревки и потопал за секретарем.

По пути любовался мраморами да коврами и похмыкивал про себя, читая про суровые будни. Все искал, где написано будет: "Горком закрыт, все ушли на фронт". На входных дверях не заметил, может, внутри где. Уж больно хотелось самому прочесть — за войну в зубах навязла фразочка. Но не нашел. Не все, значит, ушли, кое-кто и остался. Зато в другой лозунг уперся. Прочел — тоже не слабо: "Только в совместном труде с рабочими и крестьянами мы сможем стать настоящими коммунистами". Длинная фраза — во весь дворцовый пролет — так ведь и дело непростое. Вот, значит, зачем

остались — в коммунисты выйти хотят. Такими коврами — отчего бы не выйти.

Зазевался Сахан, не заметил, как оказался на воощеном паркетном полу перед очами какого-то бодрячка. Тот хотя и был в годах, но как чин молодежный, вскочил шустро, руки пожал по-свойски — и снова за стол. Сесть, однако, не предложил. Стал слова говорить разные про героизм и тяжелую жизнь в тылу. Сахан усмехнулся было, но взял себя в руки и дальше слушал сочувственно. В это время гладкие профурсетки, одетые под солдаток в обтяжные юбчонки, грамоту готовили. Профурсеток было двое, а грамота — одна. Поднесли ее чину, тот чертиком подскочил, свободную руку за борт габардинового кителя сунул — в-точь, как на портрете над ним, — и зачитал. Потом протянул грамоту через стол, да так в поклоне и замер.

"Не подагра ли труженика прихватила?" — подумал Сахан, но заметил, что и профурсетки затихли в некотором конфузе.

Проследил Сахан — под ноги ему смотрят. А под ногами лужа шевелится. Снег в усовершенствованном ботинке раскис — как не отрясал его Сахан — и потекло.

Потом профурсетки с чином переглянулись и скромно потупились. Не тот хам, кто прольет соус, а тот, кто заметит. Не заметили лужу. Но Сахан взгляды перехватил и обозлился. "Воспитаны, суки гладкие", — выругался он про себя и неожиданно топнул в лужу усовершенствованным ботинком так, что брызги веером.

Секретарь затрясся и за грамоту не поблагодарил — едва не бегом выволок Сахана из кабинета. В коридоре вскинулся: "Как ведешь себя, свинья, ботинок попросить не мог — в горком шел". Сахан секретаря укоротил и грамоту из рук вырвал — будет, чем отбиваться, если на выходе заметут. Но заметать не стали, видно, мелка выходка показалась.

Дорогой Сахан поостыл и решил все же купить для представительства новые ботинки — знать, на рвань мода отошла, в чины хочешь, по чину и шапку справь.

"Только на что их купишь? Поторопился с деньгами покон-

чить, разом отдал. Стихийный коммунист Сахан, дери его за ногу! Вот и чешишь теперь!"

* * *

Но вернувшись домой, Сахан сообразил — взял ломик и пошел паркет ковырять, что сохранился в квартирах, пробитых песочной бомбой. Пару связок продал эвакуашкам, ютившимся под лестничной клеткой, а с другой парой весь дом излазил — не берут. Феденька, гад, всех углем обеспечил. Монополист... его мать, никакого свободного рынка. Спасибо, Феклу встретил — баба придурковатая, не с того конца ложку держит — всучил ей связку. Денег у Феклы при себе не было, согласился прийти к вечеру, да заспал с беготни. Посреди ночи проснулся — идти ли, нет — а ну, как к утру сожжет Фекла паркетик, да про деньги забудет? Испугался Сахан, на ноги вскочил и, как был в куртяшке драной, побежал к Фекле. Спросонья машину у ворот проглядел, не поостерегся — и попал на историю.

С разбега вломился в дверь — а она, как по заказу, — в отвал. И пикнуть не успел, схватили за хибо, к стене притиснули.

"Это что за падло? — спрашивают. — Отвечай! — Падло, падло, — зачастил Сахан. — Свой я... — Разберемся — говорят. — А теперь чтоб рожу к стене — и ни с места".

Рожу-то, допустим, к стенке, а глаз по сторонам норовит. Дверца Феклина враспах, а в комнатенке шмон. Трое ворочают — только тряпки да бумажки летают — а четвертый вроде самого Сахана, рылом к стене стоит. По обмоткам только и признал Сахан — книжник! Ба, книжника берут! За что ж его, бедолагу? Сидел тихо, писал, да книжки грыз, как мышь в голодуху. А и мышь помешала. Ногами сгребли в грудку все бумаги да книги; одного просматривать оставили.

— Пошел, — приказали книжнику.

Тот от стенки повернулся — тощий, длиннорукий и от счастья прозрачный. Даже мужика, что постарше, в кожанке, пробрало. Отступил на шаг и спрашивает книжника:

— Рехнулся?

— Нет. Праздник у меня. Я свою работу закончил. Успел.

— Где же твоя работа, тут что ли? — Чин туповато оглядел грудку бумаг и сапогом ткнул. — Да ты знаешь, куда твоя писанина пойдет?

— Это теперь неважно, — книжник отвечает и, кажется, расцеловать чина готов. — Главное, что я успел. Договорил. А слова не на бумаге — на небесах пишутся. Людям не стереть.

— Беда с вами, — сказал чин и, улыбаясь, подтолкнул книжника любовно. — Пошел, пошел, мы люди работающие, временем дорожим.

Повели книжника мимо Сахана, и таким обжигаящим счастьем он светился, что забыл Сахан про наказ, мотыльком к нему потянулся. Померещилось, будто однажды озарило такое по жизни, а когда — забыл. Шевелением выдал себя, схлопотал по затылку, и снова:

— Да что же это за падло здесь?

Спасибо, кто-то голос подал:

— Дворник здешний.

Сахан взглянул мельком — морда знакомая, когда-то у домоуправа встречал. Одет в штатское, видно, опер районный.

— А чего по ночам шляется? — спросил тот, что по затылку заехал.

На этот раз опер промолчал. Сахан ощутил тягостную тишину и решил вывернуться — про деньги затемнить, на дурачке проехать, смешком — вам, дескать, помочь пришел — но промолчал. Смutil книжник. В жизни за собой такого не знал — и на тебе, потерялся, смолчал. А тишина гнетет, на затылок давит, только и слышно — сопит чин, мозгами крутит. От таких мозгов всего ждать можно. Наконец, бросил оперу:

— Ладно, на твою совесть оставляем.

Тут бы обрадоваться, над оперной совестью хохотнуть — ан, нет, — все книжник в мыслях. Сказали бы — в жизнь не поверил Сахан, но ведь сам, своими глазами видел — вели человека под нож, а он от счастья светился. И любопытно стало до одури — что же это так важно закончить, после чего и под нож не страшно? Любопытством и боязнь одолел, к оперу подсуелся, а потом и к тому, что при бумажках оставлен.

Мельтешил по комнате — вроде бы, помощь оказывал — а сам, изловчась, листочек ногой под шкаф загнал. И вовремя — мужик просмотром мучить себя не стал, попхал всю охапку в мешок дерматиновый, сапогом прижал, стянул — и в машину трусцой. На ходу бросил оперу:

— Понятых оформи.

Тут только заметил Сахан забившегося в угол Иванова-Гвоздика, работагу из эвакуашек. "Застенчивый, — подумал он злобно, испугавшись за свой листочек, — не знает, сука позорная, куда спрятаться. Вот, как оно комнатенку выслуживать".

Но Иванов-Гвоздик про листочек не пикнул, подписался, куда опер пальцем ткнул, и ушел, руки в рукава пряча. Сахан проводил его взглядом и подобрел. "Да и чем другим взять ему, бедолаге? Семь спиногрызов, да баба на сносях — и все под лестницей ютятся, спят по очереди. А на заводе, как ни паши, а жилплощадь скорее на кладбище выслужишь. Пошел ты, бедняга, в сучок, наклепал ублюдков, вот и вертись, подсобляй властям людей приходить".

Отпустив понятого, опер развалился на стуле и "Беломор" запалил с прищуром. Потом спросил:

— Как звать?

— Кулешов Александр.

— Ты вот что, Кулешов. Мне еще дежурить всю ночь, а теперь выпить с устатку — самое оно. Скажи, кто в доме водку держит? Скажи, за мной не пропадет.

Мог Сахан и отпереться — на морде не написано, держит кто или нет. Но невтерпеж было до листочка добраться и решил спровадить опера.

— Подскажу, — ответил Сахан. — Феденька-истопник держит.

— Ты смотри, гад какой! Держит — и молчит. Ну ладно, сговоримся, Федька мужик свой, на подписке. — Опер поднялся и хлопнул Сахана по плечу. — Уважил, Кулешов, не забуду. Пора и тебя к делу приставить.

"Далеко пойду", — заметил про себя Сахан.

Но опер неожиданно стиснул плечо железными пальцами и повернул присевшего Сахана к себе лицом.

- А кто Голубева предупредил?
 Извиваясь от боли, Сахан затряс головой:
 — Не знаю... Какого Голубева?
 — В лицо смотри, — приказал опер.

Сахан посмотрел в тяжелое, косо срезанное от скул к подбородку лицо и встретил водянистый тщательный взгляд.

— Электрика Голубева Николая из шестьдесят четвертой квартиры, кто предупредил?

- Не знаю, бля быть, не знаю.
 — Смотри, — предупредил опер. — Что-то по ночам шляться любишь.
 — Не я! Не я! — выкрикивал Сахан.
 — На первый раз поверю. — Опер отпустил Сахана и пошел к двери.

Сахан потирал плечо, а сам зубами скрипел от злости, думал: "Знал бы, что такая сволочь — видел бы ты водку, как свои уши".

— Ты на меня, парень, не кривись, — сказал опер на прощанье. — За такое знакомство и потерпеть не грех. Поумнеешь — поймешь.

Дверь за опером затворилась, оставив Сахана в злобной тоске. "В гробу я такие знакомства видел, сексот поганый", — твердил он вне себя от пережитого унижения, а потом вспомнил про листочек — и на душе прояснилось.

Залез под шкаф, нашарил сложенную бумажку — и за шиворот ее. Побежал, было, к себе, да спохватился, что за деньгами приходил — и к Фекле на кухню. Сидит старушка, свернутым платком слезы мокает, крестится. Увидела Сахана, платок приняла — а лицо, как печеная картошка, из костра краше вынают.

— За что тихого человека? — спрашивает Фекла. — За что? Грех-то какой.

Каждого свое мучит. Ей — грех, а тут деньги нужны — на ботинки, на представительство. Вдруг опер вернулся, бумажку сунул:

- Подпишите, гражданка.
 Фекла платочек на уголок стола отложила — и за карандаш,

что опер подсунул. Вот так, старушка, пишись под грехом. Подписалась — только крестиком себя обмахнула. И до того Сахану немоготу стало, что сплюнул в сердцах и про деньги забыл, ушел в дворницкую.

Засветил керосиновую лампу — и за листочек — что в нем такое, из-за чего жизни не жаль. Тут только и обнаружил, что листочка-то два — пополам сложены и исписаны так, что в глазах рябит. Сахан разложил их по столу и принялся разбирать налезающие друг на друга, будто вслепую нанесенные строчки.

СОН С ТЕСЕМОЧКОЙ, КОТОРАЯ ЗАВЯЗЫВАЕТСЯ НА БАНТИК, КАК БОТИНОК, — ЗА БЕЛОЙ ДВЕРЬЮ

Я начал убеждать человека в белом халате, что совершенно нормален, но он так быстро согласился, что доказательства мои повисли в воздухе, утратив всякую убедительность. Согласившись, человек в белом предложил мне сложить ладони, набросил на большие пальцы тесемочку и затянул узелок.

Он объявил, что мне назначено испытание тесемочкой. Несмотря на временные неудобства, нормальный человек легко выдерживает подобное испытание. Срок — всего три месяца по календарному времени, из которого, правда, я буду изъят на этот период.

Я был настолько удивлен происходящим, что не успел спросить, куда я буду изъят и, вообще, что все это значит. Растерянно пошевелив пальцами стянутых рук, я нашел, что узелок можно развязать одним движением, зажав тесемочку средним и указательным пальцами.

Человек в белом понял мою мысль и предупредил, что развязавший тесемочку удваивает срок испытания. И так до тех пор, пока срок не возрастет во всю оставшуюся человеку жизнь. Тогда приступают к лечению. Я вздрогнул и зажмурился — так угрожающе прозвучало это предупреждение. Когда я оправился и собрался узнать, в чем состоит лечение, — было поздно. Мне было объявлено, что каждый заданный

вопрос приравнивается к развязыванию тесемочки и карается удваиванием срока.

Белая дверь из календарного времени раскрылась передо мною, я шагнул в нее, ожидая чего-то страшного, но оказался на знакомой улице. Никто не преследовал меня и, поверив наконец своему освобождению, я поспешил в главк, пряча связанные руки под полый пиджака. На службе никто не обратил на меня внимания, и скоро я обнаружил, что моя связанность незаметна окружающим. Тогда я перестал прятать руки и принялся за работу.

Переписать сводку стоило мне огромного труда. Все же я справился с первыми строчками, но, взглянув на них, похолодел от ужаса: мое перо не оставляло следов на бумаге. Я взял бланк и пошел с ним к начальнику, желая объясниться.

Начальник углубился в сводку. Мне показалось, что прошла вечность. Настенные часы показывали мне двенадцать одинаковых стрелок, по одной у каждого деления циферблата, и я понял, что действительно изъят из времени. Начальник прочел и потребовал окончить сводку как можно быстрее. Он видел.

Я немного воспрял духом и так же, вслепую, довел сводку до конца. Казалось, я понемногу привыкал к часам с двенадцатью стрелками, к записям, не оставлявшим следов, к своим стянутым рукам и боли в плечах, но тайная неполноценность сжигала меня. Все обременительнее становилась проклятая тесемочка, завязанная на детский бантик.

Изъятый из времени, я не мог запечатлевать смену дней, не мог отсчитывать по ним свой срок — и три месяца обратились в абстракцию. Потеряв опору во времени, я летел в белую бесконечность трех месяцев, вытягивая связанные руки.

Тесемочка поработила мое сознание, я думал о ней беспрестанно и казался близок к помешательству. Непереносимо, язвительно прост был узелок на моих пальцах — легкий след миновавшего наваждения. Но тайный страх перед лечением мешал мне избавиться от тесемочки — и произошло это помимо моей воли. Однажды, исследуя узелок, я дернул

бантик чуть сильнее, чем следовало, — и тесемочка распутилась с той легкостью, которая мне так часто снилась.

Я замер, не смея развести затекшие руки, и дрожащими пальцами стал повязывать тесемочку на место. Но петелька не складывалась, узелок соскальзывал и распадался, предоставляя рукам преступную свободу. Подгоняемый страхом, я бросился к соседу, умоляя его помочь мне — но увидел, что руки его стянуты такой же тесемочкой. Я попятился и выскочил из дома.

На площади висели часы, указывая календарное, двустрелочное время, но оно больше не интересовало меня. Вокруг теснилась толпа — толпа спешащих людей со связанными руками — и я ощутил всю меру своего преступления. И побежал, когда никто не гнался за мной, и затерялся в людях, исподволь наблюдая за их жизнью.

Бесплодность человеческой деятельности была столь же очевидна, как пустые строчки моей сводки. Рабочие копали яму под фундамент, выбрасывая пустые лопаты, пианист стучал по клавишам, не издававшим звуков, следователь вел допрос мнимого преступника, кладовщик воровал отсутствующие продукты, вожди произносили по радио бессмысленные речи, а солдаты убивали несуществующих врагов.

Свободный от пут, я видел печальную бессмысленность человеческой жизни. Я крикнул, но они не услышали меня, стучал, но не отворили мне. Не зная, как использовать миг своей преступной свободы, как открыть людям глаза на проклятую тесемочку, которой подчинено их существование, я сел и начал писать. Но тут меня взяли и увезли за белую дверь.

Мне повязали новую тесемочку и добавили три месяца. "К чему добавили?" — спросил я и получил еще три месяца — за вопрос. Связывал меня все тот же любезный человек в белом халате. На руках его я заметил тесемочку. Я отчетливо видел ее — до тех пор, пока он не затянул на мне узелок".

Сахан шевелил губами, разбирая неровные строчки, а дочитал — и скулы свело от злости. "Фуфло, обман простого человека. Чокнутый этот книжник — вот и все его счастье. А я-то, дурак, загляделся".

Со злости спалил листочки над лампой — вмиг взялись, видно, жирные, поелозил по ним книжник рукой. Вспыхнули — и погасли, и темно стало. Только горстка пепла карежилась на столе, да блуждали неверные огоньки.

"А говоришь, людям не стереть, — думал Сахан. — На небесах пишется! Не высоко ли взял — кто читать будет? Обман, все обман. Все пеплом изойдет, а жизни не сдвинет. Ничего на этом свете не изменишь. Как рожено, так и хожено — в страхе, в огляде — вдруг, что не так. Одна и надежда, что начальство подскажет.

А ты сны с тесемочками развозишь! Чтобы, значит, сбросили их люди, да зрячими стали? Да ты подумал, что они прозреют-то увидят! То-то. В этой тесемочке одно и спасение наше. Ты вот, развязал — и где теперь?

И чего добивался — в ум не возьму. Счастья всеобщего? Да откуда такое, если и счастье нам не в счастье, когда не за счет другого — борьба, как нас Мариванна с Карлой Марлой учат. Нет, уж ты предоставь оперу за всеобщее счастье бороться, он хоть Мариванну с Карлой Марлой не знает, но в счастье не хуже их разбирается: тебя упек, теперь Феденьку на бутылку колет. И расколет, будь спок. Знает Феденька, на чем жизнь стоит. Вся страна под сексотами да операми — куда денешься? Один Коля-электрик им и не дался. Ну, мужик! Герой! Или оперы не так сильны? — Но порасмыслив, Сахан решил: сильны. Связью с массаами сильны, Феденьками, которые против ветра плевать не будут. Поди-ка, книжник, развяжи такого Феденьку — тут же в морду схлопочешь. А он к оперу побежит, бутылку поставит — только повяжи, как было. Опер и повяжет, знает в чем счастье народное.

* * *

Успокоившись, Сахан взялся за дело — разложил учебник и принялся немецкий зубрить. Но вспомнил книжника — и не-

уверенная улыбка застыла на лице. "Это ж надо — война, голод — а он сны сочиняет! Жаль, всего два листочка из мешка досталось. Впрочем, писанина его — вздор, не в ней дело. Он, может, и сумасшедший, да свободен и счастлив. Есть в нем что-то превыше его жизни — оттого и светло ему, и под нож не страшно. Да только — что? Ведь видел уже в ком-то счастье этого книжника. Видел — и забыл".

Всю зиму вспоминал Сахан. И снег греб, и на грузки общественные тянул, и учился по-черному — а все не лезло из головы чужое странное счастье. Даже на чтение стал время выкраивать — не встретит ли чего похожего?

Не встретил. Все лишние люди, фраера, бездельем маялись, да один придурок над щенком убивался. "Странно, — думал Сахан, — кормят мужика, как хлебореца, а он счастья своего не понимает, мелехлюндии над животным разводит. А на нашем пайке тот же мужик сожрет этого щенка и забудет. Недаром, значит, Мариванна с Карлой Марлой учат, что бытие определяет. Оно еще и не то определить может".

Не удовлетворившись школьной программой, Сахан набрал в библиотеке целый воз книг. Но только засел за поиски — на крестьянок наткнулся, которые любить умеют, и тут же глаза одной выколол, чтобы не повадно было. Дальше на бедных людей попал, дочитал до середины — и бросил. Нашел, что бедности они и не нюхали: в настоящей бедности не будешь писульки писать и соплями исходить — волком взвощь, лишь бы кусок урвать.

На этом Сахан с классикой покончил, принялся за советские книжки — и затерялся в героях. Все как из железа — не пьют, не едят — героизм проявляют. И все почему-то Павлики. Один с мамашей революцию делает и на суд орет, как на тещу. Другой дорогу прокладывает и, как рельс закаляется, кто колхоз поднимает, кто — индустрию, а тот, что помладше и в дело еще не годен — папашу властям закладывает.

"Вот уж теперь лафа этим летописцам литературным, — решил Сахан. — На весь век войны хватит. Уж таких Павликов наваяют, что прочтешь — железом запахнешь. А не погнажи бы моего папашу доверчивым пузом на танки — поди, железных

Фрицев валяли бы. К литературному бытию привыкли — куда денешься?"

Запихнул Сахан героических Павликов с бедняками и крестьянками в мешок, отволоч в библиотеку, и на том с литературой расчелся. Только праздные классические фраера нетнет, да и приходили на ум — и сыты, и в довольстве, и холуев вокруг них куча, а они почему зря под пули лезут. Стало быть, и им плохо? Кому же тогда хорошо?

И всю долгую зиму вспоминался Сахану книжник и кто-то неузнанный, светившийся тем же непонятым счастьем.

* * *

— Ты, как из ада сбежала, — сказал Кашей, останавливаясь у лавочки, где сидела распаренная Степка. — Поди и не страшно будет на сковородке жариться — за грехи-то?

— И... милай, какие наши грехи, — ответила Степка. — Ндысь историю слышала — страсть! Вот где грехи — нашим не чета.

— Говори, только толком, — сказал Кашей. — У меня перерыв кончается.

В это время из подворотни вышел Лерка с желтым кожаным портфелем и, небрежно кивнув Кашею, встал рядом.

— ...огромный такой кобель, овчарка, злющий — страсть, проходу никому не давал. Вот с ентим кобелем дамочка каждый день и прогуливалась, — говорила Степка, вылизывая кончиком языка сохнувшие губы. — А он холеный, цепочка на ем чистого золота — идет, изверг, скалится.

В это время Сахан, тенью следовавший за Леркой, вошел в подворотню и, увидев Степку, притаился в полумраке.

— Время подошло, муж этой дамочки и возвращается, — продолжала Степка. — Весь в орденах — чемодан кожаный цельный.

— Это ордена-то в чемодане? — спросил Кашей.

— В чемодане. Такой начальник, что и орденов показывать не моги. — Степка подняла палец и зашипела. — Шшш... Вот какой начальник!

Внезапное беспокойство овладело Авдейкой, он не по-

нимал, что мешает ему слушать Степку, а потом нашел взглядом Сахана — и замер от ненависти, как оловянный солдатик.

— И только муж к дамочке по этому делу... — Прервав рассказ, Степка часто и пылко захихикала.

Смех ее, когда-то доводивший Лерку до помрачения, вызвал теперь волну брезгливой жалости, и он отшатнулся, недоумевая, как это убогое существо могло вызывать в нем желание. Лерка отшатнулся — и увидел Сахана, в немом отчаянии затаившегося у стены. Сгорбленный, вобравший голову от непереносимого страдания, которое вызывали в нем постыдные Степкины бредни, Сахан все же уловил жалость в Леркином взгляде — и запечатлел этот миг понимания, как свой единственный шанс вернуть Лерку. Мгновенно воспрянув духом, он позабыл о сестре, но до конца идиотского рассказа подыгрывал Лерке, и, насилуя себя, изображал страдание.

Кашей нетерпеливо пнул в Степкин валенок, и смех затих.

— ...ну, по семейному-то делу, — уточнила Степка. — Тут кобель на него как рыкнет — и сам на красавицу полез. Муж, начальник-то, за пистолет — обоих разом и порешил — и красавицу и кобеля. — Степка замолчала и торжествующе огляделась. — Вот, где грехи — нашим не чета.

— А что начальнику было? — спросил Кашей.

— Ничего. Приехала была милиция, а тут начальник над этим начальником — такой главный, что и не скажешь. "Уезжайте, — говорит милиции. — Он право такое имеет — врагов стрелять". Милиция и уехала.

— Что бабу порешил — понятно, — глухо и задумчиво произнес Кашей. — А вот права такого ни у кого нету. На то закон есть, суд. Дело-то мокрое.

— Какой ему закон, когда он — во какой начальник! — ответила Степка.

Она развела руки, чтобы нагляднее были размеры власти и важности начальника, и вдруг заплакала.

"Законники, — презрительно отметил Сахан, с трудом удерживая жалостную мину. — Но ты, Кашей, радуешь! Поум-

нел, выходит, под дурака прожить решил? Или забыл, как Парфена замели, соседа твоего бывшего? Поди, помнишь, газету на закрутку с оглядкой рвешь — не дернуть бы, ненавроком, речь вождя, или хайло какое не пожечь. Закон, Кашей, дело строгое, если его для Парфена не нашлось, так и ни для кого нет. А нет закона — топор хозяин. Тем, кто в чинах, он — топорищем в ладонь, а шестеркам, вроде нас с Парфеном — лезвием по шее. Хотел ты, друг, из-под воровского закона выйти и за государственный спрятаться, да из-под финки под топор и попал. И все это ты, Кашей, не хуже меня знаешь. Нет, наврал книжник про тесемочку — все человечки видят, да только не признаются, жить хотят. Одна Степка и ляпнула по глупости”.

Степка между тем продолжала рыдать, и тогда Кашей опять слегка пнул черный валенок.

— Ты чего, Степка?

— Дамочку жалко. Красивая, говорят, была, молодая. Страх, как война над бабами злобствует — вон, в какой грех ввела.

— Будет тебе — война, война. Нечего под кобелей лезть, — ответил Кашей и ушел.

Ушел и Лерка, а за ним, словно привязанный невидимой ниточкой, Сахан.

Авдейка оттаял от ненависти и сказал Степке:

— Не плачь. Это неправда все.

— Как так?

— Собак еще в сорок первом году съели, я так и не видел ни одной. А другие на фронте погибли. И стрелять некого. Неправда, что собаку застрелили.

— Правда, правда, правда! — страшно прокричала Степка и затрясла головой.

* * *

Сахан догнал Лерку и поплелся сзади — шаг в шаг — твердо решив использовать свой шанс, и сцену доиграть до конца. Лерка шел неторопливо, наслаждаясь освобождением от мучительного соблазна, каким была Степка, — и на Сахана внимания не обращал.

У подъезда он остановился и оглядел насыпь, где возле сверкающего на солнце трехметрового ледяного бастиона резвилась какая-то мелюзга. Краем глаза заметил покорное ожидание на лице Сахана и удивился настойчивости, с какой тот преследует его полгода.

“А ведь любит меня Сахан, — осенило Лерку. — Вот те раз! Любит, хотя в жизни себе не признается. Вечно у него на уме недоброе, и ходит он за мной неспроста — а любит. Ненавидит и любит — не умеет он иначе. А мне на него плевать. И как славно!”

— Что-то не играли этот год, — великодушно бросил Лерка. — А крепость на славу.

Сахан потерял голос и невнятно мыкнул. Разом сбросив выражение терпеливой скорби, он зашарил по Лерке ликующими глазками. “Заговорил! Это ж надо! На бабу не подловил, а соплей припустил — и вот он. Позабавиться хочет! Да я, милый друг, такую тебе игру устрою, что чертям тошно станет. Народу сотню сгоню, барабан изнасилую. Уж ты оттаешь, ласковый, и домой пригласишь”.

— Так не поздно! — выкрикнул Сахан, совладав с голосом. — Хоть завтра!

— Хорошо бы... — сказал Лерка и, усмехнувшись ликованию Сахана, добавил, как щенка по носу щелкая, — на прощание. А то переезжаем мы на той неделе.

И ушел, отбросив подъездную дверь. Сахан почувствовал одуряющую слабость и обвис на парапете. С застывшей улыбкой следил, как, набирая ход, обрушивается тяжелая дверь, и в глазах его темнело. Наощупь зачерпнув снег, он принялся тереть лицо, мрак рассеялся, и его торопливая мысль подвела итог:

“Полгода подличал и все коту под хвост. Вот тебе и конфетки, бараночки... Не в том горе, что уезжает барчонок, — горе, что глядит на меня, как на Степку. Подлец я ему, грязный прихлебала. Да такой и есть. Гладеньким за зиму стал, Феденьку строил, по ветру плевал. Речи читал фальшивые, папашу убитого под ноги подкладывал, как чурбак, лишь бы торчать позаметнее — и за это уважения ждал? Всех надуть хо-

тел — да подлецом и вышел. И от Лерки по заслугам схлопотал. Он от презрения и позабавиться со мной согласился — косточку швырнул, чтоб я место свое помнил. Как Степке — обноску на память.

Вот и все. Отколготился наконец. Отличник, активист, молодая смена, а на поверку, тот же все — Сахан, Маруськин ублюдок. Голый, грязный и с барабаном".

Сахан оттолкнулся от парапета, ушел на дрожащих ногах и не помнил себя до другого дня, когда Лерка нашел его в дворницкой и позвал на насыпь. Не понимая, зачем он это делает, Сахан с тупой покорностью достал барабан, вышел из подвала — и ударил сбор.

* * *

У опушенной снегом пирамиды угля возле кочегарки шло деление на "фашистов" и "наших". Сопелки, признанные эвакуашками наполовину, кидали жребий и еще до начала игры передрались за места в наших. Эвакуашки, обреченные представлять фашистов, держались вокруг Марьяна, крепкого круглоголового парня, недавно вернувшегося из Горького, По силам и старшинству Марьян мог претендовать на место в наших, но он помнил свой двор и держался его правил.

"Дурачье, — лениво размышлял Сахан, наблюдая за распрей Сопелок. — Нашли чем гордиться, — в эвакуации они не были, героизм проявили. Прямо, как мой папаша — тоже, по-ди, пухнет от гордости в своей яме. А дело и выеденного яйца не стоит: не ждали власти, что немцы за три месяца к Москве выйдут, вот и погнали его пузом на дула, а этих недоумков здесь бросили за ненадобностью. Может, теперь ты, папаша, и узнал, есть ли они, гордые, да какие они из себя. А нам не узнать — иных уж шлеп, а те калеки, на мосту медяки клянчат".

* * *

Приглядевшись, Кашей заметил небывалое ожесточение дворовой игры. Он удивился углям, густо сыпавшимся вниз, обилию лопат, и ломам, которыми никогда прежде не пользовались, но больше — тому остервенению, с которым, не ща-

дя себя, лезли на приступ атакующие и отбивались защитники крепости. Казалось, вся накопленная за войну ненависть разрешается в этой игре, превращая ее в кровавую драку.

Почувствовав, что крепость поддается и вот-вот падет, Кашей не выдержал. Сбросив на снег бушлат, он затянул потуже шелковый шарф, хлопнул по голенищу, проверяя, на месте ли финка, и бросился к насыпи.

* * *

Сахан не ждал его, привычно дрогнул под веселым и жутковатым взглядом, но мигом и оправился, с мстительной силой обрушил на него палку. Но Кашей успел нырнуть под нее и принял удар на левую руку. Палка отлетела. Выпрямляясь в рост, Кашей нанес страшный удар снизу в подбородок. Сахан перелетел через вал и всем ростом обрушился на стоявших внизу, повалив их с ног. В это время в незащищенный пробой с криками: "Бей эвакуашек! Ура! За Сталина!" вскочило через Леркину спину несколько парней. Лерка подталкивал их наверх, воодушевляя кличем римских легионеров: "Барра! Барра!"

Сахан пришел в себя и со сдавленным стоном приподнялся, опираясь руками о жгучий снег. "Так вот зачем я здесь уродовался, — понял Сахан. — Тебя, оказывается поджидал". Напряженно следя за Кашеем, закатившим рукава гимнастерки и бившимся голыми руками, Сахан наливался темной и требовательной силой. "Боженька-то не фраер, все наперед видит. Вот и навел. А я-то, дурак, четыре года в толк не брал, чем мучаюсь. Пора, Кашей, пришел час".

Негнущейся рукой Сахан выдернул из кармана платок, и странный звук насторожил его — будто кувшин треснул и вода пролилась. Панический страх того, что не собрать ему эту пролитую воду, заставил Сахана вскочить на ноги. Под ним лежала битка, которая вывалилась из кармана вместе с платком и, ударившись о лом, отскочила в снег.

"Голову повредил", — решил Сахан.

Насухо вытерев лицо, он сунул сточенную монету в карман и поднял лом. Заметив, что никто за ним не следит, он мед-

ленно отошел к краю насыпи. Подумал, что, пожалуй, против правил идет, и хрипло рассмеялся. "Заигрался, по правилам жить привык. Вдели мерину в пасть удила, а он и ржет от радости. Или война не показала, чего все эти правила стоят? Один конец людям — по правилам живут или нет. А коли приговорены к вышке — так и преступники. И не их правилами меня держать".

* * *

Лом в руках Сахана обретал опасную картонажную легкость, тусклой струей света нацеливался на ненавистную фигуру, помеченную белым шарфом. Знакомая матерчатая ушанка застлала зрение Сахана. Заломленная набекрень, она открывала стриженные волосы над правым ухом, и ничто уже не существовало для него, кроме этой обнаженной для удара плоти. Он выждал, пока Кашей, сбрасывая кого-то, склонился над валом, упруго шагнул вперед, заводя лом, и тут, когда ничто, казалось, не могло остановить его, и опережающая сила воображения уже опустила лом в открытую и нежную голову, Сахан ощутил препятствие. Внезапное, как наваждение, оно выросло перед ним, заслонив Кашея. Сахан встретил горячий, сломом угля сверкающий взгляд, раздраженно сморгнул его и вдруг узнал гаденыша, всю войну попадавшего ему под ноги, как камень на дороге. Беспричинная робость овладела Саханом. Своим обостренным чутьем он уловил за этим шальным мальчишкой враждебную силу, с которой не сталкивался прежде, и невольным защитным движением уперся в легкую фигурку острием лома.

Солнечный блик скользнул по лому и тупо ткнулся о грудь. Авдейка напрягся и болью в руке ощутил забытый уголь. Сахан приближался, явственно наливаясь черным, лом его все теснее сдавливал грудь, и тогда в упор, всею силой, Авдейка швырнул уголь.

Лицо Сахана брызнуло, исчезло, как отражение в стоячей воде.

Потеряв равновесие, Сахан выпустил лом и инстинктивно выставил руки, но ошеломляющее наслаждение внезапно и

жестко выгнуло тело, и он застонал, настигая раскрывшееся счастье, и свободное падение длилось неудержимо, принимая его в себя, пока не оборвалось обледеневшей кирпичной кладкой.

* * *

Лерка увидел, как в последний момент Сахан пошатнулся, неловко выронил лом и исчез за срезом парапета.

"Шваль, — выругался Лерка. — И на это не годен. Все они — грязный и трусливый сброд. И всегда такими будут, потому что до конца идти не способны. Один Алеша смог, да я. Тем я и поднят над ними, тем мне и музыка далась, что не побоюсь себя уничтожить, до конца пошел. Нет во мне к ним иного чувства, кроме презрения. И не утверждаться надо в их жизни, а похерить ее навсегда. Она мне за это мстить будет — да я отобьюсь".

Лерка облизал рот, сплюнул кровавую слюну и ушел домой. В проеме входной двери его ждала мать.

— Я видела тебя, мой мальчик, — сказала она, смахивая блестящие слез. — Ты не знаешь, что я пережила. Я видела эту дикую драку. Но ты! Ты рыцарь! Я смотрела и плакала, я думала, как легко мы забываем, что мы люди, что мы гордые и свободные существа.

Лерка грубо отстранил мать и прошел в свой кабинет. Обернувшись разбитым лицом, он бросил с порога:

— А не забывали бы, что люди — так и жить стало б некому. И швырнул за собой дверь.

* * *

С самого начала игры, не зная еще, чем она обернется, Марьян решил напомнить о себе, перескочив годы эвакуации и занять среди сверстников прежнее место. Он хлебнул там, у тетки в Горьком, где голодный и одинокий не устоял под месарем и в шестерки попал к местной шпане. Наученный давить первый страх, который и судьбу решает, он держался своей цели, защищал крепость, не щадя себя, — и не отступил, хотя рукав пальто уже крови не вбирал. Но Марьян по-

нял, что зашел далеко. По непреложному условию фашисты обязаны проиграть, а их победа, одержанная под его началом, не скоро простится. Тогда он решил замкнуть на себя усилия всего двора и в одиночку изменить ход драки. Сбив с ног навалившихся пацанов и не чувствуя ударов, Марьян в три прыжка достиг Кашея, нарушавшего его замысел, и схода, наотмашь хватил его кулаком в затылок.

Кашей, увлеченно расправлявшийся с последними противниками, не ждал удара сзади. Оглушенный, он грузно рухнул вниз, и штык лопаты, всаженной в снег у ледяной стены, пришелся ему по шейному позвонку.

* * *

Война кончилась, и был победный салют, и танк Т-34, построенный на деньги Песочного дома, — мертвый и угрожающий сгусток металла — взошел на утес символом свободы.

— Это ваша война с немцами? — спросил Данауров.

"Да, — крупно написала сестра. — Кончилась".

— Значит, ее нет?

"Нет".

— Я говорил, что ее нет?

"Говорил".

— Вот оно! — воскликнул Данауров.

Истина отрицания тронула его, как дуновение ветра: все проходит, все сгорает в мгновении, и нет миру ни прошлого, ни будущего. Ничего не было, ничего и не будет. Остальное — ложь.

Муха, ползавшая по лицу Данаурова, отливала на солнце янтарным, зеленым и фиолетовым. Она улетела. И Данауров умер. И его никогда не было.

* * *

В тот день, когда скромно похоронили усопшего Данаурова, лишенного утешительной возможности отрицать этот факт, Сахан, выросший из одежды еще на полтора месяца, вышел из отделения черепной хирургии и зажмурил глаза, утапавшие в толстом слое бинтов.

Ударившись со всего роста лицом о парашют, он потерял сознание, а очнувшись в госпитальной палате, долго не мог понять, что произошло. Смутно припоминался какой-то треснувший сосуд и пролитая вода, которую он пытался собрать, и только оправившись от шока, восстановил он истинный ход событий.

Само происшествие, приведшее его в госпиталь, поначалу оставалось Сахану безразлично, и только мысль о том, что Кашей опять ускользнул, подбрасывала в койке. Но сил у Сахана было немного, и злоба быстро покидала его, оставляя в непривычном покое.

Впервые имел Сахан столько досужего времени, и далось оно ему нелегко. Нетерпеливая мысль шарилась по прожитой жизни, как вор по магазинным полкам, перетряхивая разную дрянь, из-за которой и замка-то сбивать не стоило. Выходило, что все, чем ни прельщался он, за что ни пытался ухватиться в жизни, расплзлось, как ветошь, оставляя в руках неизбывный зуд.

Избегая бесплодных и разрушительных мыслей, Сахан приглядывался к лежащим в палате сорока фронтовикам с черепными ранениями, полученными на последних вершках войны. Головами, наглухо замотанными в бинты, напоминали они сорок чудовищных коконов, и Сахан рассмеялся, представив, что из таких может вылупиться. Резкая боль умерила его восторг, он принялся вслушиваться в нечленораздельные беседы раненых и скоро научился распознавать нехитрую правду войны, скрытую обильным враньем, как лица бинтами. Бессмысленная ложь раздражала Сахана, пока он не понял, что фронтовое прошлое — единственный капитал этих изувеченных мужиков, монета, которую они всячески золотили своей убогой фантазией. Об ожидавшей их гражданке солдаты отзывались с пренебрежением, за которым легко угадывалась тревога. Никто из них не успел получить до войны ни толкового образования, ни профессии — и под будущее всех сорока не отдал бы Сахан и стертой монеты.

Планы же фронтовиков на дальнейшую жизнь отличались детской жадностью и неустойчивостью. Тот, что до армии плот-

начал, собирался выучиться на краснодеревщика или почему-то на зубного техника; бывший танкист, механик-водитель, хрипел, что на трактор его не загонишь, что не дурак и пропишется в Москве, а там не меньше, как в ювелиры пойдут; колхозник с двумя классами, по случаю разграбивший в Венгрии часовую лавку, был настолько потрясен совершенством и точностью малюсенького механизма, что не хотел никуда, кроме как в часовщики; люди потрезвее мылились поближе к деньгам — в заготовители или кладовщики, а один — так прямо в управляющие. Мужик, правда, попался покладистый, и чем управлять, было ему до лампочки.

Поохатывая про себя над этими карьеристами, Сахан с интересом прислушивался к обоженному солдатику, который хотел делать куклы. Он быстро терял зрение, да потому, наверное, и говорил о куклах без конца, что боялся ослепнуть — но Сахана порадовал. "Вот бы с людей делать эти куклы, — подумал он. — Уж такие уроды получатся — животики надорвешь".

Окончательно ослепнув, солдатик покинул палату, а оставшиеся притихли из суеверия и на время перестали обсуждать будущее и молча всматривались в него своими обезображенными лицами. Проследив мыслью расчеты каждого солдата, Сахан увидел сорок ошибок, сорок человеческих неудач, и ощутил в своем понимании жизни какое-то мрачное величие. Ему было ясно, что не ювелирами и управляющими быть этим изуродованным мужикам, а черными работягами и спиваться от тоски по войне, в которой они были не шестерками, а спасителями отечества — молодыми, одолевшими страх, и настолько удачливыми, что живыми из нее вышли.

"Вы, бедняги, счастливый билетик у судьбы вытянули, — думал Сахан, — и надеетесь дальше таскать без продыха. Нет, милые, дважды так не фартит. Войну в солдатах проищачили, не поднялись, а на другие пути припозднились — к ним с молодости готовиться надо".

И все же Сахан завидовал этим нелепым карьеристам — этим списанным солдатам, пугающимся собственного отражения. Опасаясь будущего, они желали его со всей страстью

случайно сохраненной жизни — а он не желал. Устав от себя, он шаг за шагом проследил мыслью сорок чужих путей, изжил сорок жизней — и сорок раз обманывая судьбу, упирался в то маленькое, серенькое, неминуемое, что, как дохлая мышь, мирно лежало в сухарях насмешкой над человеческими усилиями.

Но солдаты не далеко выглядывали из своих коконов. Привыкнув за четыре года войны жить часом, они разве что под ноги себе заглядывали — ложбинку сыскать, да и плюхнуться. "И не им чета люди тем же живы, — думал Сахан. — Найдут по себе занятие — и зароятся в него с головой, только бы чего лишнего не высмотреть. Наградили бы меня талантиком — может, и я бы зарылся. Игрался себе, как дитя, с расчетами какими или измерениями, да поплеывал по сторонам. Но обнесли меня — вот и стою, словно на юру, и дела другого не имею, как по сторонам озираться. А люди копаются, как кроты, до клада не дорожат, так корешок погрызут. И увечные и горбатые, а перемогаются потихоньку. Вон, мужички мои, до мозгов продырявлены, а ржут — лошадь позавидует. Да только воротит меня от их радостей".

Воротило Сахана от бесконечной травли о бабах. Ею покрывалось все — тоска по дому, страх перед операцией, бессонница, боль и само уродство. Солдаты говорили о них, перебивая друг друга, и друг от друга распаяясь, и тогда призраки женщин — русских и хохлушек, немок и полек, чешек, румынок и мадярок — наполняли палату, безудержно отдаваясь этим глухим, слепым, изувеченным мужикам. Солдаты не уставали вспоминать все новых и новых баб, скрывая свой страх за то, как их, обезображенных, примут те, о ком они молчат, и вранья в этих воспоминаниях было еще больше, чем в героических рассказах. Как за спасение, хватались они за память о женском теле, и надежда обрести его вновь держала жизни сорока мучеников — и те, что не возвращались с операционного стола, теряли именно эту, единственную реальную награду.

Особенно усердствовал дотошный мужик со стальным небом. Сорок сороков подробностей невольно выслушал от не-

го Сахан — и чем баба от бабы отличается, и как узнать, не больна ли, и как закидывать и с какой стороны пихать, — и неожиданно выяснил, что все это он прекрасно знает еще с детства своего паскудного. Это открытие заставило его взвыть от бессильной ненависти и, спасаясь под одеялом от похотливого жестяного голоса, думать, сглатывая слезы, что не насмотришься он с детства, как все это проделывают над его матерью, — омерзения бы к бабам не испытывал, глядишь, и жизнь бы иным повернулась.

Тридцать восемь собеседников слушали луженую глотку, ожидая своей очереди, а тридцать девятый, видать, пожилой, обратился к Сахану:

— Ты, паря, их не суди. Недогуляли они свое — вот и до баб жадны. Того не смыслят, что не баб — детей хотят.

— А в барабан они их стучать научат? — во всю силу выкрикнул Сахан, преодолевая боль, и, обессиленный, повалился в койку.

— Чего? — переспросил пожилой.

— Дуй через плечо, — прошептал Сахан окровавленным ртом и провалился в темноту.

В бреду чудилось Сахану огромное кукурузное поле, в котором ищет он кого-то до страсти необходимого, и вдруг замечает, что вместо кукурузы торчат в бороздках люди, с головы до ног замотанные в бинты — торчат и покачиваются под ветром, как тугие белые злаки. Они подталкивают его со всех сторон, но он все бежит, едва удерживаясь на ногах, бежит и кличет того, необходимого. Потом он понимает, что и тот тоже замотан в белое, ответить не может, и, выхватив нож, начинает срезать с людей бинты, чтобы открыть лица. Но бинты не поддаются, только кровь от порезов проступает на белом, и кричат от боли чудовищные живые злаки...

* * *

Степка была брюхата. И хотя живот ее был еще невелик, Сахан угадал это в ее счастливом отстраненном взгляде, осунувшемся лице, налитых грудях, в мягкости походки и жестов — и тут же вся она превратилась для него в брюхо —

огромное, распухшее вместилище его позора. Что-то оборвалось, опасно екнуло в Сахане, он принял от Степки пирожок, который та достала из чистенького узелка, тупо посмотрел на него и поднес ко рту — но рот не открывался.

Отложив часть пирожков брату, Степка разговора завести не решилась и пошла наделять солдатиков. Ходячие тут же повскакали с коек и окружили ее веселым, безлицым, мычащим кольцом.

— Ну и ласковая у тебя сестрица, парень, мне б такую!

Сахан услышал и съехался, забинтованной рожой обрадовался, как подарку, — все не так заметно, что одного с ним лица брюхатая идиотка. "Поди, и ублюдка родит такого же. И куда не денешься от него, пальцами затычут: твой он, твой, одним лицом, одной судьбой. Как его не прозывай, а вырастет — тем же Саханом по двору мыкаться начнет. И подохну — а все в таком же ублюдке двор мести стану да урны выгребать — и конца этому паскудству не будет".

Сахан приглушенно взвыл и заметил, что солдат вокруг Степки набилось, как мух на падали, а она смеется тем смехом, который он превыше жизни ненавидел — и не мог понять, щупают ее уже или только примеряются.

Тут Сахана прорвало. Сорвавшись на визг, не чувствуя боли расходящихся швов, он заорал:

— Убирайся! Убирайся, тварь подзаборная. Сгинь, сука!

Солдаты сникли, быстро разбрелись по койкам, и Степка в одиночестве возвышалась посреди палаты, недоуменно озираясь. Сахана било, как в лихорадке, он проклинал все, то вмещал его мозг, но слова не шли, кровавыми пузырями опались у рта.

Наконец Степка поняла, что от нее требуется, выпятив живот, направилась к Сахану, сиротски сдвинула брови, увидев окровавленные бинты на лице брата, но проститься не посмела.

В дверях она поклонилась в пояс и сказала напевно:

— Прощевайте, солдатики.

Сахан поднял сжатые кулаки, палата завертелась перед ним погасла.

Посреди ночи он очнулся от боли, ощупал свежую повязку и понял, что снова сводили швы. Второй месяц боль обволакивала его, как дым, и не мог он пробиться сквозь нее, вспомнить не мог, за чем потянулся так жадно, головы не пожалев. Вместо этого виделся ему мальчишка, как бы рябью отделенный невероятностью того, что руку посмел поднять на него, взрослого, хозяина двора. Но спала рябь — и снова Сахан ощутил непонятную робость, вступившую в сердце, когда легкая фигура заслонила Кашея. "Что за чертовщина, — думал Сахан, — какая еще сила за гаденышем? Отца — и того нет. Что-то путаю я".

Но он не путал. Сквозь чистоту ночного мрака пылающими глазами смотрел на него мальчишка — и был счастлив. "Счастлив? — недоуменно спросил Сахан и, опасаясь нарушить ясное впечатление, торопливо ответил: "Ну, конечно, он счастлив, подлец! Вот кого мне книжник напомнил. Я-то по литературе все шнырял, думал, не у нас счастливых искать — а он рядом. Безотцовщина, в голоде мыкается — а счастлив. Свободен он от себя, вот в чем фокус. Потому и под лом стал, что светло ему и смерти не видно. Не трепещет за свою жизнь выходить, видно, иную волю над собой чувствует — не от нашего мира. Это в них с книжником одно. А что за воля — разберусь, придет срок. Главное, что есть она, и пацан знает. Не так знает, чтобы сказать, — а знает. И я узнаю, как от паскудства обложившего не зависеть. Научусь счастливым быть, в шестерки к пацану пойду, век сукой проползаю — а научусь. Больше мне кидаться некуда, везде обман. Один пацан и знает. А никто не догадывается, потому что в свои беды замонтаны, как солдаты в бинты, и живут наощупь. А я догадался. Тот и зряч, кто ищет, а я и в бреду его искал. А что малолетка он — так это в кого упадет. Вырастет еще. И как же я его любить стану!"

Надежда пробилась в душу Сахана, как луч в дымный подвал, и до самого утра он тихо пел от счастья, раскачиваясь на скрипящей койке.

С этой ночи мысли Сахана стали легки, как миновавшая болезнь. Обнаружив присутствие в жизни высшей воли, убе-

регшей его от убийства, он тут же и безусловно поверился ей, и перестал мучиться паскудным прошлым. Ненависть отпустила, и Сахан принял спасение Кашея, увидел в нем связующий знак, необходимое условие собственного спасения. "Я ему про пацана расскажу, — думал Сахан, — ведь обоих нас спас — друг для друга".

* * *

Угомонился Сахан, даже Лерку вспоминал без злобы, — и боль отошла от него, как от чужого. Он быстро пошел на поправку, и на десятое мая был назначен к выписке.

А девятого победу праздновали. Солдатики спирту раздобыли — один даже умер, так справили. Сахан, хотя и не пил, но радовался вместе со всеми — и победа, и надежда светит, что нашел наконец, на чем с жизнью примириться. Даже Степкин ублюдок не так страшен казался. Смотрел Сахан через окно на победный салют, "ура" кричал шепелявя, и выковыривал пальцем слезы из задубевших бинтов.

На другое утро вышел из госпиталя и с детским любопытством оглядывался по сторонам — какая она, победа? Но скоро поостыл — никакая, конечно. Во дворах гуляют — где дерутся, где воют. Все те же бабы и инвалиды на улицах, разве что пьяные, шпана приклатненная промышляет, рупора гундосят на всю округу, а в распределитель очередь едва не до драки — манкой победителей отоваривают. Посмотрел Сахан, посмотрел — и всю радость из сердца выдуло.

Услышав трамвайное лязганье, он полез в карман и, к своему удивлению, нащупал монету. Поднеся ее к глазам, Сахан встретил на позеленевшем глянце нечто белое и бесформенное, а когда понял, что это он сам и есть, то с отвращением зашвырнул монету подальше. Разбрызгивая свет, она закатилась в долгую подворотню.

— Моя! — зазвенел мальчишеский голос.

— Нет, моя, я первый увидел!

— А я первый взял!

— Ну-ка, гони сюда, — хмуро произнес, кто-то третий, и глухое молчание сошлось над пронзительным вскриком.

"Война кончилась, — подумал Сахан с отстраненной печалью. — Сказали бы лучше, начиналась ли она когда?"

Он поскреб лицо, мучительно зачесавшееся под бинтами, и бредя знакомыми, с детства истоптанными улицами, не мог избавиться от ощущения, что видит их извне — удаленными и недостижимыми.

* * *

На подходе к Песочному дому Сахан уловил звуки, сливавшиеся в раскат далекого грома. Прислушиваясь, он понял, что настилают кровельную жесьть, молотков в пять, беспричинно разволновался и ускорил шаг.

В створе ворот Сахан натолкнулся на Ибрагима, печально зацокавшего при виде его забинтованной головы, и указал на крышу, требуя объяснения. Перекрывая жестяной грохот, Ибрагим напряг голос, отчего сразу утратил способность к русской речи, и с грехом пополам объяснил, что нагнали пленных немцев, и они в неделю отремонтировали дом.

Не дослушав Ибрагима, снова надолго зацокавшего, Сахан сделал шаг в сторону и внезапно потерял равновесие. Земля уходила из-под ног, и Сахан удержался, только схватив Ибрагима за грудки.

— Повтори! — закричал Сахан.

— Кашея убили... — начал Ибрагим сызнова.

Сахан сжимал в кулаках засаленные борта пиджака и чувствовал, что, выпустив их, немедленно рухнет.

— Как же это? Не спас его пацан? Не спас? Ведь опять, как серпом по яйцам... А я поверил... любить хотел, — бредово бормотал Сахан опешевшему Ибрагиму. — Не спас, не спас — только мне расквитаться не дал!

Раскатистый грохот обрушивался во двор, погребая Сахана. Оттолкнув Ибрагима, он пошел в глубь двора, сбиваясь с ног от неверных, вперехлест подгоняющих ударов. Ибрагим догнал его и сунул в руки связку ключей. Руки не держали, и Сахан трижды выронил ключи, прежде чем боль в зудящем лице вернула его в сознание.

Светило солнце. Грохотала жесьть. Сидели дети на насыпи. На ключе темнела зарубка.

Сахан узнал этот ключ и с его помощью выбрался через подъезд на крышу. Там он сел на приступку чердачного окна и вытянул ноги по нагретой жести. На противоположном крыле дома хлопотали немцы в выцветших робах, покрывая сверкающей жесьтью свежие доски ската. Двое выравнивали ее деревянными колотушками, а трое били молотками в загиб листов.

"Как в воду глядел — в пять молотков трудятся, — отметил Сахан. — Да как не зряч, а все в обман вхожу. На чужое счастье рот разеваю, вот и глотаю пыль. Пацану позавидовал, силу в нем нашел. Страх в нем, видишь ли, нет — а его просто били мало. И в нем-то я высшую волю отыскивал! Какую волю, где она? Была бы воля — так и Кашей жил. Отняли, отняли у меня ясна сокола — случаем подсунули идиота — и отняли.

А я-то, дурак, любви учиться надумал. В апостолы намылился! Понимать не хочу, что не спастись на этом свете — ох, не хочу. А придется. Все с этим светом ясно, а про тот и загадывать не стоит — увижу, никуда не денусь".

Грохот молотков стих, как по команде, и звенящая тишина забила уши. Один за другим немцы исчезали в слуховом окне.

"Вот и не осталось следов от нашей бомбы, — рассеянно думал Сахан. — Смутила она меня, все в песок поверить не мог. Теперь верю, только прока в нем не вижу. Песочная или пороховая — а все под случаем ходим, и конец всем один. Бомба мне это и открыла, да только не признавался, трусил. Дергался всю войну, цеплялся за что ни попадя, чтобы судьбу миновать, да за себя не выскочишь. Излазил жизнь нашу, как солдат бабу, а не приткнулся, не сыскал себе места. Тем же остался, что и войну назад. Только глаза она мне промыла и уж насмотрелся власть — ввек не опростаюсь.

Теперь время быстро покатиться, через три ли года или тридцать, а забудут люди и пролом этот, и бомбу, и убитых своих, и саму свою судьбу. Будут про войну у литерных летописцев почитать, а те ее, как укажут, так и распишут. И переписать за труд не сочтут. От правды и останется, как от козлика. Да больше и не надо: правду помнить — вроде,

как голым ходить. Все люди забудут. И тебя, Кашей, и тебя!

Ах Кашей, Кашей! всю войну мы с тобой на качельной доске простояли, да надул ты меня, первым спрыгнул. И нет подо мной опоры. Обставил, Кашей. Как всегда обставлял, так и у конца обставил. У конца?

Ну, конечно же! — Сахан вскочил на ноги. — Что за бестолочь, никогда сразу не пойму! Он бережно спустился к перильцам и заглянул вниз. — Четыре года посматривал, все стыда боялся. Только обман это — нет никакого стыда, и дело не в нем. Сам я себя дурачил — тесемочка берегла. Да я-то ее не уберег, и не заметил, как сдернул. Не своей волей — прав книжник, один и прав, да и тот не иначе, как с психушки дернул. Был бы здоров — не просвещал людишек, а бежал от них без оглядки — головой в омут”.

Нестерпимо зудела щека, Сахан корчил лицо, а потом стал драть с себя повязку, беря струпья, и почувствовал на шее кровь.

Взгляд все глубже проникал пропасть, все легче, охватистее виделось ему разверзшееся пространство, и боль отпускала, вся его зудящая боль, и избавленный от прошлого, он все ниже склонялся над перилами, и счастье свободного падения раскрывалось ему, он узнал это счастье — единственную награду за жизнь — и потянулся к нему, но что-то последнее еще удерживало его, цепляло, как сучок за полу.

Сахан отодвинулся от перил, сбил с ладоней кожуру ржавчины и сказал:

— Пойду прежде Степку убью.

* * *

Одинокая птица пересекала небо. Полет ее был долог, а усилия тяжелы и медлительны.

Птица набрала высоту и скрылась за срезом Песочного дома. Рисунки дяди Пети-солдата пожелтели и выцвели, а черные профили людей, проходивших летом 1944 года по площади Белорусского вокзала, свернулись в черные трубочки. Развернутые через тридцать три года, они рассыпались в черный прах. Через тридцать лет и три года.

Москва, 1976-1979



Георгий БЕН

АНГЛИЙСКАЯ И АМЕРИКАНСКАЯ ЭПИГРАММА

РАЗРОЗНЕННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

По-моему, самые лучшие эпиграммы — это эпиграммы двухстрочные. Почему? Потому что даже, например, уже в четырехстрочной эпиграмме первые две строки нередко бывают лишними: они написаны лишь для того, чтобы срифмовать их с последними двумя строчками, в которых — вся соль эпиграммы. Взять хоть известную эпиграмму Тургенева на Кетчера, который перевел прозой стихотворные трагедии Шекспира:

Вот еще светило мира!
Кетчер, друг шипучих вин,
Перепер он нам Шекспира
На язык родных осин.

Ну, какое имеет значение то, что Кетчер — “друг шипучих вин”? И “светило мира”, конечно, понадобилось Тургеневу лишь для того, чтобы зарифмовать фамилию Шекспира. В этой эпиграмме первые две строки — это балласт, ненужный довесок. А еще более громоздкими бывают такие довески в эпиграммах, достигающих восьми строк — например, в эпиграмме Минаева на роман Тургенева “Вешние воды”:

Недаром он в родной стране
 Слывет "талантом"... по преданьям;
 Заглавье вяжется вполне
 В его романе с содержанием.
 При чтеньи этих "Вешних вод"
 И их окончивши, невольню
 Читатель скажет в свой черед:
 "Воды, действительно, довольно".

Для смысла эпитаграммы здесь нужны лишь 3-я, 4-я и 8-я строка: срифмуй Минаев только их, получилась бы емкая, хлесткая эпитаграмма — такая же, как, например, выражающая, по сути деле, ту же мысль английская эпитаграмма Чарлза Таунсенда на поэтов Вордсворта и Колриджа, живших в Озерном крае, на севере Англии:

Уместно, что живут в Озерном крае
 Те, чьи стихи — одна вода сплошная.

И хотя иногда встречаются очень изящные эпитаграммы на восемь или даже более строк, но большинство таких эпитаграмм неизбежно грешит водянистостью. Если же эпитаграмматист умудряется загнать свою мысль в хлесткое двустушие, возникают маленькие шедевры, вроде едкой и, увы, до сих пор злободневной эпитаграммы Гиляровского:

У нас в России — две напасти:
 Внизу — власть тьмы, и наверху — тьма власти.

Краткость — это всемирный эпитаграмматический закон, верный для всех эпох и языков. Чтобы в этом убедиться, почитайте хоть эпитаграммы поэтов древности (в ту эпоху эпитаграмма, что по-гречески значит "надпись", была не обязательно язвительной или шуточной — это могли быть любая надпись, сделанная, например, на здании, на надгробии, на постаменте статуи и где угодно еще). Вот, например, любовная эпитаграмма Платона:

Небом хотел бы я быть, звездным, всевидящим небом,
 Чтобы тебя созерцать всеми очами его.

А вот анонимная греческая эпитаграмма насмешливого характера:

Раз Диомед увидал тюфячок старика Антиоха.
 Больше не видел с тех пор своего тюфячка Антиох.

В Древнем Риме эпитаграмма, не теряя полностью своего греческого значения, стала прежде всего восприниматься как короткое

насмешливое стихотворение, где сначала тема развивается в каком-то одном направлении, а потом, в конце, следует ошеломительно неожиданный ее поворот. Таковы лучшие эпитаграммы римского сатирика Марциала. Например:

Ты свою задницу вымыл, Зоил, и испачкалась ванна.
 Чтоб ее хуже испачкать, голову в ванну засунь.

И в Риме и позднее в средневековой Европе главный закон эпитаграммы заключался в том, что она должна была содержать законченную мысль, выраженную сжатом. Короче говоря, об эпитаграмме не сказано ничего более верного, чем то, что сказал анонимный английский автор XVI века:

Суть эпитаграммы — краткость; и она —
 Не эпитаграмме, коль она длинна.

Английский язык особенно приспособлен для сочинения эпитаграмм, ибо он чрезвычайно лаконичен: в нем чуть ли не 75 процентов слов — односложные. Кроме того, в английском языке очень много омонимов и омофонов — то есть слов, одинаковых по звучанию, но различных по значению и написанию, и это помогает создавать каламбуры, столь необходимые в эпитаграммах. Поэтому английская эпитаграмма, родившись в XVI веке, — позднее, чем в других странах Европы, — быстро расцвела. Уже в шекспировские времена были широко популярны хлесткие эпитаграммы Джорджа Тэрбервилла, Томаса Нэша, Джона Хоскинса, сэра Джона Дэвиса и многих других остроумцев; а иные эпитаграмматисты даже имен своих не оставили потомству, ибо эпитаграмма не нуждается в печатном станке и не боится цензора, а быстро запоминается и распространяется из уст в уста, подобно тому, как в России распространяются сейчас анекдоты.

Впрочем, в елизаветинской Англии цензоры были куда менее придирчивы, чем сотрудники Главлита, и многие даже очень едкие эпитаграммы попадали в печать. А позднее — в XVII, XVIII, XIX веках (в отличие, например, от Германии, где, как это ни парадоксально, даже сатирик Гейне не оставил нам ни одной эпитаграммы), в Англии, а затем в Соединенных Штатах свою дань эпитаграмме отдали чуть ли не все крупные и не очень крупные поэты — и не только такие завзятые острословы, как Геррик, Поуп, Свифт, Шеридан, Байрон или Оливер Уэндалл Холмс, но даже, казалось бы, совсем не склонные к юмору серьезные, возвышенные поэты вроде Вордсворта, По, Теннисона или Лонгфелло.

Авторами блистательных эпитаграмм часто становились люди, ничем другим не прославившиеся (сэр Чарльз Седли, Томас Роулэндсон, Ковентри Патмор, Джон Коллинз Боссида и др.) Многие же авторы эпитаграмм остались для нас анонимами, ибо они не претендовали ни на гонорар, ни на славу, а просто были мастерами острого словца.

То, что эпиграмма была в значительной степени устным жанром, предопределило некоторые ее особенности — в частности, то, что в эпиграммах можно было касаться таких тем и употреблять такие слова, которые в тогдашней печати были недопустимы. Отсюда — в эпиграммах изобилие фривольностей, эротических подробностей и непечатных слов. Большим мастером таких эпиграмм был Роберт Бернс, хотя его русский переводчик Маршак, предвидя возражения, такие эпиграммы Бернса либо вообще не переводил, либо переводил, но оприличивал (например, эпиграмма "У него герцогиня знакомая").

Любопытно, что в XX веке, когда в английской литературе непечатные слова спокойно стали печатными, количество неприличных эпиграмм резко уменьшилось.

В наше время жанр эпиграммы вообще начал приходить в упадок — не знаю уж почему — может быть, потому, что сейчас первую скрипку в литературном оркестре играет не поэзия, а проза, а может быть, потому, что роль эпиграммы узурпировали такие жанры, как афоризм и анекдот: ведь анекдот — это что-то вроде эпиграммы в прозе.

Впрочем, не впадаю ли я в заблуждение тех стариков, которые считают, что в их юные годы лестницы были менее крутыми? Ведь и в XX веке жили и живут блестящие английские и американские эпиграмматисты — такие, как Редьярд Киплинг, Хилар Беллок, Огден Нэш, Джон Апдайк, Норман Мейлер или Ричард Уилбер. Может быть, это не упадок, а временный спад?

И в заключение нужно сказать об одном виде эпиграммы, приоритет в котором явно принадлежит англичанам: это — шутливая или сатирическая эпитафия. Конечно, эпиграммы-эпитафии писались во всех странах, начиная еще с Древней Греции, но, пожалуй, нигде они не распространены так, как в Англии. И эпиграмма в форме эпитафии — это отнюдь не изобретение писателей-острословов. Дело в том, что самые настоящие надгробия на самых настоящих английских кладбищах нередко украшены шутивными эпитафиями. Недавно в Англии даже вышел сборник таких эпитафий — под названием "Кладбищенский юмор". Причем эти эпитафии далеко не всегда комплиментарны по отношению к усопшему. Казалось бы, шутить над смертью — какое кощунство! Но, как сказал Бернард Шоу, "все великие истины начинались с кощунства", и природное чувство юмора подсказало англичанам, что в этом кощунстве скрыта великая истина: она в том — чтобы принять смерть легко, чтобы не бояться смерти, победить страх перед смертью, обратив смерть в предмет шутки — такой же шутки, какой является жизнь, как утверждал английский поэт XVIII века Джон Гэй в "Эпитафии самому себе", которая действительно начертана на его надгробии в Вестминстерском аббатстве:

Жизнь — это только шутка озорная.
Я думал так. Теперь я это знаю.

ЖИЗНЬ - ЭТО ШУТКА ОЗОРНАЯ

Томас БАСТАРД (1566-1618)

НАДПИСЬ НА МОГИЛЕ ДЖОНА СЭНДА

Жизнь и смерть прямую держат связь:
В жизни был я мразь, а здесь я — грязь.

Джон ХОСКИНС (1566-1638)

ЭПИТАФИЯ ШЛЮХЕ

Креста из палок для тебя не жалко;
Уж ты-то знала, как кидают палку.

Роберт ГЕРРИК (1591-1674)

ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

Ты платье сняла, но, дрожа от стыда,
Не хочешь раздеться совсем.
Но если задернута штора всегда,
Окно было делать зачем?

О ВЛАСТЬ ИМУЩИХ

Разумные владыки и вельможи
Стригут овец, но не дерут с них кожу.

Роулэнд УОТКИНС (1610-1664)

С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ...

Коль друг твой плох, и сам ты будешь плох.
Кто спит с собакой, наберется блох.

Мэтью ПРАЙОР (1664-1721)

НАДПИСЬ НА ЭКЗЕМПЛЯРЕ КНИГИ ОВИДИЯ НАЗОНА "НАУКА ЛЮБВИ"

Нет лучше вожатого, чем Назон,
За ним подобает идти:
Он путь указывает для дев и для жен,
Желающих сбиться с пути.

Александр ПОУП (1688-1744)

НАДПИСЬ НА ОШЕЙНИКЕ СОБАКИ, КОТОРУЮ Я ПОДАРИЛ ГЕРЦОГУ

Собака герцогская я.
А вы собака чья?

Уильям ОЛДИСС (1696-1761)

О САМОМ СЕБЕ

На деле и словах себе я друг.
А старый друг ведь лучше новых двух.

Ричард Бринсли ШЕРИДАН (1761-1816)

ПРОТЕСТ КЛИО

Ты пишешь, говорят, легко — и выдаешь за томом том.
Но то, что ты легко писал, читается с таким трудом!

ЖИЗНЬ - ЭТО ШУТКА ОЗОРНАЯ

87

Томас РОУЛЕНДСОН (1756-1827)

ПОЭТУ ХЭЙЛИ

Твоя мне дружба — словно в горле ком.
Прошу, будь другом: стань моим врагом!

Роберт БЕРНС (1759-1796)

НАДПИСЬ НА МОГИЛЕ СТАРУХИ ГРИЗЗЕЛЬ ГРИММ

"В объятьях смерти Гриззель Гримм
Под этой спит плитою..."
О смерть! Какой ужасный вкус:
Спать с ведьмою такую!

ЭПИГРАММА

О том, что ты с лордами дружбу ведешь,
Ты направо кричишь и налево.
Но ведь вошью навеки останется вошь,
Даже влезши в п...у королевы.

Сэр Вальтер СКОТТ (1771-1832)

АВТОРУ, УМЕЮЩЕМУ ПРИДУМЫВАТЬ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

Что постыдного в том,
Что издал ты свой том
И включил в него всякую небыль?
Ведь небылью, например,
Прославился даже Гомер,
Да и сам он, к тому ж, то ли был, то ли не был.

Сэмюэль Тэйлор КОЛРИДЖ (1772-1834)

ЭПИТАФИЯ ПЛОХОМУ ПЕВЦУ

Порою лебеди поют пред тем, как умереть.
О, если бы только умер ты пред тем, как начал петь!

Уолтер Сэвджд ЛЭНДОР (1775-1864)

КРИТИКУ

Ты, как ни тщился, не дал объяснения,
Что значит гениальное творение.
Но какво творение плохое,
Ты показал любой своей строкою.

Генри Уодсворт Лонгфелло (1807-1882)

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ СЛЕПЦОМ И БЕДНЯКОМ

Слепца обидеть не моги, а бедняка любой обидит.
Слепец не видит никого, а бедняка никто не видит.

Эдгар Аллан ПО (1809-1849)

ЭПИГРАММА ДЛЯ УОЛЛ-СТРИТА

Если ты беден, не стоит тужить;
Твое счастье — в твоих руках:
В банк поступи, хоть швейцаром, служить —
Будешь всегда при деньгах.
К побегу спаржи доллар приклей,
Да покрепче, чтобы он не отстал:
Вырастет спаржа быстро — и с ней
Вырастет твой капитал.

Редьярд КИПЛИНГ (1865-1936)

ТРУС

Боялся я взглянуть на смерть:
Узнав про этот страх,
Меня к ней люди привели
С повязкой на глазах.

Уильям Батлер ЕЙТС (1865-1939)

ПОЭТУ, КОТОРЫЙ ПОСОВЕТОВАЛ МНЕ ПОХВАЛИТЬ НЕКОТОРЫХ ПОЭТОВ — МОИХ И ЕГО ПОДРАЖАТЕЛЕЙ

Мне ли хвалить их? Совет твой плох:
Пригоже ли псу хвалить своих блох?

Мэри ОСТИН (1868-1934)

ЛЕВ

Если ты встретишь грозного льва,
И если есть у тебя голова,
Не становись у него на пути,
Чтоб спросить, куда он намерен идти,
Не то ты не будешь иметь головы,
И больше тебе не встретятся львы.

Хилар БЕЛЛОК (1870-1953)

ЭПИТАФИЯ ЛОРДУ АРЧИБАЛЬДУ МАСТЕРСУ

Чиня проводку в замке родовом,
Он током был убит. И поделом:
Обязанность богатых, между прочим, —
Работу обеспечивать рабочим.

О СОБСТВЕННЫХ КНИГАХ

Хочу, чтоб на моей гробнице начертали:
"Его не читали, но зато читали".

ЭПИТАФИЯ ПОЛИТИКУ

В могиле сей лежит политик старый:
Он в одночасье умер от удара.
Все радуются, я же — безутешен:
Мне так хотелось, чтоб он был повешен.

Хамберт ВУЛФ (1885-1940)

АНГЛИЙСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ

Нам говорят: английский журналист,
Мол, не бывает на руку нечист.
Но и бесплатно пишет он такое,
Что нам на взятки тратиться не стоит.

Джастин РИЧАРДСОН (1899-1978)

ОТНОШЕНИЕ К ЭПИГРАММАМ

Сам эпиграмм не пишет он:
Он просто — э п и г р а м м о ф о н .

НА НАГРАЖДЕНИЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ОРДЕНОМ

В Риме был закон суров:
Вешали на крест воров.
Мы же, к нашему позору,
Стали вешать крест на вора.

Сэмюэл ХОФФЕНСТАЙН (род. в 1901 г.)

КОГДА ТЕБЯ НЕТ

Когда тебя нет, я рыдаю и плачу,
Хожу одинокий, несчастный и злой.
И все ж, дорогая, ведь вот незадача:
Я чувствую то же, когда ты со мной.

Огден НЭШ (1902-1972)

СЛОВО МУЖЬЯМ

Чтобы в своем законном браке
К вершинам счастья вознестись,
Когда ты виноват — признайся,
Когда ты прав — заткнись.

Стиви СМИТ (1903-1971)

ОБ ОДНОЙ АНГЛИЧАНКЕ

Она так изящна, стройна и тонка,
Что нет у нее ни грудей, ни задка.

Филлис МАК-ГИНЛИ (род. в 1905 г.)

ГРЭМ ГРИН

Будь грешники унылыми такими,
Какими всех их видим мы у Грина,
Земля была б давно полна святыми
И дьявол бы сошел с ума от сплина.

Ричард УИЛБЕР (род. в 1921 г.)

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ

Корову мироздания доя,
Мы шепчем ей: "В тебя не верю я".

Норма МЕЙЛЕР (род. в 1923 г.)

АДАМ И ЕВА

"Вот не везет! —
воскликнул Змей. —
Я хотел совратить
Адама,
а дама
Сказала, что яблоко
нужно
ей!"

СВОБОДА ПЕЧАТИ

Пусть каждый,
кто пишет,
по-своему
врет.
В этом свобода печати:
вот!

Хьюго ЛЕВЕНСТЕРН (род. в 1932 г.)

О БАНКАХ

1
Банк вам предан всей душой
И не скупится при этом:
Он дает вам шубу летом,
Чтоб отнять ее зимой.

2
О банк! Злословью вопреки,
Ты мягко стелешь — спать не жестко:
Готов ты мановением руки
Слепому подарить очки,
И африканцу дать коньки,
И сделать лысому прическу.

ПРИЗНАНИЕ НЕПЬЮЩЕЙ ДЕВИЦЫ

"Ах, кто бы в бар меня ни вел,
Всегда мне выдержки не хватит:
С двух рюмок я ложусь под стол,
С трех рюмок — под того, кто платит".

КТО СИЛЬНЕЕ?

Бандит вам грозит, пока взводит курок:
"А ну: твою жизнь или твой кошелек!"
А женщина сразу и то и другое
Получит, лишь сделавшись вашей женою.

АНОНИМНЫЕ АВТОРЫ**РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕССИМИСТА**

Встревожен мир, забыт веселый смех,
По всей земле разносится зараза,
И умирают многие из тех,
Кто до сих пор не умирал ни разу.

ЭПИТАФИИ

1
Здесь доктор Чард почил среди других могил,
А в них почили те, которых он лечил.

2
Здесь Джуди Форд погребена.
Впервые спит она одна.

3
Под камнем сим — прах честного судьи.
О боже! Чудеса бесчисленны твои!



Игорь ПОМЕРАНЦЕВ

ПЕЙЗАЖИК В ОКТЯБРЕ

* * *

Слава Богу,
 после нас
 комнату сняли индусы.
 Что им
 до кисло-сладкого запаха
 нашей любви?
 Или я уговариваю
 себя?

* * *

Эти шорохи и шелесты
 его стихов,
 криминальные тени
 любовников,
 кофейная гуща ночи,
 сырая сухость,

ПЕЙЗАЖИК В ОКТЯБРЕ

скишее тряпье,
 подтеки вина.
 Обволакивающее
 женское имя —
 Александрия.

* * *

Пейзажик в октябре,
 потертый такой,
 заношенный,
 с запашком вонючей
 сигаретки,
 с подмигиванием,
 с женой,
 красивой только на 7-ое
 да на Новый год,
 с каким-то
 жалким таким
 "Пока!"

* * *

Вот что сказал Г.Флобер
 о своем романе "Мадам Бовари":
 — Что вам сказать об этой книге?
 Прежде всего мне хотелось выразить в ней
 тот особый желтоватый оттенок закоулков,
 где иногда гнездится тоска.

* * *

Мне приснился эротический сон:
 иду вечером
 по незнакомой улице
 и слышу сквозь
 открытое окно,

как две пани
говорят по-польски.

* * *

Мы расстаемся.
У нас разные вкусы:
тебе понравился
четвертый раз
в пансионе "Глория",
а мне —
второй
в полдень
в промасленном взглядами
братьев славян
"Герцоговине".

* * *

Один в комнате:
включаю музыку
и танцую
превосходно,
думая про
умерших родных.
Не понимаю,
отчего считаюсь
плохим танцором.

ПУБЛИЦИСТИКА. _____
СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА.



Иосиф КОСИНСКИЙ

В ПЕРСПЕКТИВЕ — ВОЕННАЯ ДИКТАТУРА

Попытка прогноза

Несмотря на годы и годы эмиграции, лежащие за плечами, со страной пребывания — будь то Германия, Франция, Америка или Австралия — нас связывают главным образом текущие, сиюминутные интересы. Будущее, допустим, той же Америки интересует нас лишь постольку-поскольку, — в той мере, в какой оно способно определить будущее России. Да если бы мы и вздумали прогнозировать события в Соединенных Штатах и вокруг них, например, картину предвыборной борьбы накануне президентских выборов 1988 года или возможность возникновения в Мексике коммунистического режима и американского вооруженного вмешательства в вероятную вслед за этим мексиканскую гражданскую войну, — едва ли этот прогноз был бы убедительным. Нам недостаточно знакома — да, по совести, не очень-то даже и интересна — расстановка сил, определяющая ход событий на этом материке.

Несравненно более важными представляются нам судьбы России. Мало кто сомневается, что она стоит на пороге чрез-

вычайных событий, которые назревали хотя и медленно, однако неуклонно, и вот теперь должны разразиться, приведя к неисчислимым последствиям, которые, возможно, затронут и нас.

Само это слово "неисчислимые" уже показывает, что их невозможно предвидеть.

Впрочем, сколько-нибудь долгосрочное прогнозирование событий — дело вообще крайне неблагоприятное. Сильные мира сего в критические для их власти минуты готовы были "полцарства" отдать за надежный прогноз, — но то, что получали от своих прорицателей, как правило, их не удовлетворяло, — либо потому, что предсказание фатальным образом опровергалось событиями ближайших же месяцев, а то и недель, либо потому, что сулило роковые неприятности, несчастья, гибель. Кого мог устроить подобный прогноз?

Разумеется, такие прогнозы держались в строжайшей тайне. Однако наряду с государственными, придворными пророками находились во все времена и неофициальные, которых не связывали ни присяга, ни общность судьбы с правителем, ни опасение лишиться куска хлеба в случае неудачного, неблагоприятного прогноза.

К сожалению, им сопутствовал успех тоже в чрезвычайно редких случаях. Дело в том, что прогноз можно считать удачным только при условии, что он удовлетворяет сразу двум критериям: определяет не только предстоящий ход событий, но и время, когда они произойдут.

В этом смысле очень показательна неудача — или, скажем точнее, неполная удача — широко известного прогноза, принадлежащего Амальрику.

На первый взгляд, может вообще показаться, что полемический вопрос, поставленный Амальриком пятнадцать лет назад, — "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?" — жизнь попросту сняла с повестки дня. Но нет, дело обстоит вовсе не так однозначно и просто.

Как известно, Амальрик сознательно придал своей позиции полемическую заостренность, чем и объясняется броский, сенсационный заголовок его работы. По существу же он по-

лагал, что сроки существования СССР определяются его возрастающей конфронтацией с красным Китаем. Трудно усомниться в справедливости этой посылки. Аналитическая сторона прогноза Амальрика по существу безупречна, так что ошибся он только в сроках, — вероятно, оттого, что писал свою брошюру весной 1969 года, когда эта конфронтация крайне обострилась. Как все помнят, дело дошло тогда до кровопролитных схваток на советско-китайской границе. И "1984 год", многозначительно совпадающий с названием антиутопии Орвелла, был выведен Амальриком из предположения, что "война СССР с Китаем начнется где-то между 1975 и-1980 годами".

А она не началась. Зная, что война с Китаем, даже при огромном военно-техническом превосходстве СССР, ничего хорошего Советскому Союзу не сулит, брежневское руководство, верное своей политике оттягивать решение вообще всех кардинальных проблем, решило первым не трогать Китай, а лишь укрепить границу на случай атаки китайцев и начать постепенное стратегическое окружение своего опасного соседа. На советско-китайской границе были возведены мощные укрепления, размещены отборные войска, на Китай были нацелены ракеты, способные нести ядерный заряд, а с другой стороны, советское руководство начало осуществлять болезненное превращение Афганистана из полузависимой монархии в абсолютно покорный советский придаток.

Если б дела здесь пошли так гладко, как планировалось, то советские войска уже сейчас были бы готовы к прыжку на берега Индийского океана через Пакистан. Афганское сопротивление внесло в план стратегического окружения Китая непредвиденные коррективы.

Тем не менее сугубо оборонительная позиция, занятая в отношении возможных китайских поползновений, принесла свои плоды и, как видим, оттянула начало прямого столкновения. Со своей стороны, Китай в силу внутренней дестабилизации, порожденной борьбой за власть после Мао, тоже отложил на время решение собственных глобальных задач.

Однако, выиграв еще одну "мирную передышку", советское руководство не может не сознавать, что вообще-то вре-

мя работает на Китай. Это тем более опасно, что сейчас все проблемы и беды советского режима, как назло, стянулись в единый узел: кризис системы, свидетелями которого мы являемся, именно сегодня сделался всесторонним. Амальрик тоже принимал во внимание многие его составляющие, однако за прошедшие пятнадцать лет этот кризис существенно обострился.

Сейчас на первый план выступила куда более насущная угроза режиму, нежели китайское вторжение.

Эта угроза обусловлена внутренними причинами.

На протяжении 70-х годов в СССР одновременно проявились и теперь со все возрастающей силой дают себя знать, по крайней мере, пять угрожающих симптомов, зловеще совпавшие во времени:

- небывалый хозяйственный застой;
- предельное напряжение экономики;
- полное вырождение и упадок влияния официальной идеологии;
- усиление центробежных сил, направленных на "расползание" огромной советской империи;
- физическое одряхление руководства.

Связано ли все перечисленное с возрастом государства? Безусловно, связано: это именно болезни возраста. Большевикская империя, по меркам бурного и стремительного XX века, действительно состарилась. Постоянное взнуздывание ее экономики; нещадное растраниживание народных сил, неизменная внешнеполитическая агрессивность режима, конечно, очень способствовали быстрому старению государства, тем более опасному и необратимому, что советская экономическая система не обладает свойством саморегуляции. Она жестко регламентирована (как и все стороны жизни СССР), централизована, предельно бюрократична, инертна и в то же время постоянно испытывает на себе давление кремлевского политико-экономического волюнтаризма. Не обладая гибкостью, она то и дело вступает в противоречие с меняющимися политическими, социальными и даже биологическими факторами. Когда Советы были молоды и полны задора, эти

противоречия кое-как преодолевались, теперь они для СССР непреодолимы и будут лишь углубляться.

Судя по множеству признаков, уже не поддается восстановлению (в рамках "социализма") безнадежно подорванное сельское хозяйство. Уже не выправить демографический перекос: еще немного, и в пределах СССР русские окажутся в таком меньшинстве, какое станет опасно напоминать недавнее положение англичан в среде густонаселенных колоний. Наконец, давно следовало бы спохватиться — да что ж это, в самом-то деле, происходит! — и помириться с еврейским, немецким и татарским населением собственной страны, — тем более, что гонение, скажем, на евреев не диктовалось ни потребностями многонационального государства (оно не сплачивало общество, а, напротив, разъединяло), ни попросту здравым смыслом... Следовало бы трубить отбой, да поскорее, — но режим успел зайти слишком далеко, а теперь история просто не отпускает большевикам времени на поправку...

Старое, во многих отношениях уязвимое государство только ускоряет свой конец, ведя чрезвычайно активную внешнюю политику.

Чем дальше, тем лихорадочнее эта активность. Но такая безоглядная политика, принесшая в начале 70-х годов некоторые, впрочем весьма эфемерные успехи — в первую очередь в Европе, — привела к тому, что СССР оказался вовлеченным в уйму забот и обязательств во всех частях света, и эти заботы и обязательства сделались уже непосильными. Невероятно дорого обходятся и Куба, и Вьетнам, и Никарагуа, и Афганистан, и Польша. Подрывная деятельность в глобальном масштабе подрывает, как оказалось, прежде всего собственную страну. Атомная подводная лодка с ядерными ракетами, океанский авианосец, сверхзвуковой истребитель — все это, как известно, не способно ни повысить уровень жизни народа, ни излечить безнадежно больное хозяйство, — наоборот, еще больше разоряет. Марионеточные правители, насаждаемые там и сям, шпионы и террористы, рассылаемые по всему свету, — тоже публика весьма дорогостоящая.

Международные аппетиты правителей посорили СССР

даже с миролюбивыми афганцами и кроткими чехами, не говоря уже о поляках или венграх, у которых никогда не было оснований особенно любить Россию. На радость китайцам, СССР снова восстановил против себя Японию и Южную Корею. СССР лишился союзников в арабском мире, приобретенных такой дорогой ценой, — притом отнюдь не за счет улучшения отношений с Израилем...

В свое время опьяненные успехом Октябрьского переворота и выигранной гражданской войной идеологи большевизма предсказывали наступление в обозримом будущем "нового тура войн и революций". Теперь роли переменялись: Кремль как огня боится очередного тура войн и неизбежных контрреволюций, ибо этим потрясениям предстоит наложиться на все те дестабилизирующие факторы, о которых шла речь выше. Ввиду этого даже то, что казалось до сих пор безоговорочным благом — почти сорокалетний, небывалый в истории России период мира, — выглядит в ином, тревожном свете: чем длительнее затишье, тем более грозной может стать последующая буря.

Намеренно консервативная политика Брежнева не давала оснований считать, что мир находится на какой-то опасной грани и вот-вот произойдет некий глобальный катаклизм. Сейчас этот близкий катаклизм можно предсказывать, не боясь ошибиться. Случайный или не случайный выстрел, из тех роковых, когда орудия сами начинают стрелять, теперь едва ли заставит себя ждать.

Существует мнение, что советская система не развалится без "большой войны". Я этого мнения не разделяю. Мне кажется, что оно основано на ложных параллелях с закатом императорской России. Сейчас для Советского Союза представляет опасность даже "малая война". Та, что уже идет. Эта война, при всей скромности ее масштабов, — из разряда тех самых опасных, злокачественных войн, которые крайне ослабляют государственный организм. Сторонникам исторических параллелей она должна напоминать очень многое. Достаточно вспомнить, как Россию подорвала и ввергла в пучину анархии война с Японией (1904-1905), как обнажила пе-

ред всем миром страшную слабость советского колосса война с Финляндией (1939—1940), как потряс могучую Америку далекий и жалкий Вьетнам.

Имперский корабль входит в полосу бурь, лишенный авторитетного капитана. Нет сомнения, что в Москве именно сейчас предпринимаются лихорадочные усилия, направленные на смену — пока не поздно — непопулярного и недееспособного руководства.

Кто же готовится стать у руля на период смертельных испытаний, ожидающих старую и обремененную многочисленными недугами систему?

Этот вопрос уже ставился на страницах журнала "Время и мы" ровно пять лет назад. В обширной статье, названной "Нынешние и будущие правители России", Владимир Соловьев и Елена Клепикова обращали внимание читателей на угрожающее усиление влияния полуправительственной "русской партии", партии русских националистов, и "вычисляли" нового вождя, намечаемого в Кремле на смену уже тогда дряхлому Брежневу. Пользуясь приемом исключения, то есть прибегая к методике, характерной для прогнозов с недостаточным информационным обеспечением, они тем не менее рассуждали весьма безапелляционно: "Маловероятно, чтобы председатель КГБ стал преемником Брежнева".

Разделавшись этой единственной фразой с Андроповым (именно он был в 1979 году председателем КГБ), В.Соловьев и Е.Клепикова столь же решительно отвергали кандидатуры Устинова, Косыгина и Сулова и переходили к "брежневским сторонникам" — Кириленко, Черненко и Громыко. С ними тоже было все ясно: "Двое первых сомнительны как преемники ввиду их украинского происхождения и старости, а последний — ввиду локального характера его компетенции и ответственности".*

Поскольку "времена Интернационала, благодаря которому смог прийти к власти грузин Сталин, канули в Лету", столь же безоговорочно отменялись "казах Куняев, украинец Щербичский и восьмидесятилетний эстонец Пельше". Остава-

* "Время и мы", №44, август 1979.

лось рассмотреть две кандидатуры чисто русских руководителей — Гришина и Романова. Гришин отпадал ввиду "его почтенного возраста и давнего пребывания в Политбюро", что "лишало его покровительства со стороны других членов". Оставался Романов — которого авторы статьи и прочили "в преемники Брежнева на партийном его посту", то есть на посту реального главы государства. В.Соловьев и Е.Клепикова считали нужным подчеркнуть, что эта кандидатура вычислена ими также на основе "конкретного анализа", а не только путем исключения. Однако их конкретный анализ сводился опять же к уже известному читателям утверждению, что Романов устраивает русофилов, набравших в последнее время большую силу, хотя и остающихся пока что за кулисами...

Столь неудачный прогноз может быть объяснен в значительной мере тем обстоятельством, что он появился на свет за два с лишним года до смерти Брежнева и, таким образом, разделил судьбы многих долгосрочных прогнозов. Намного легче было прогнозировать ход событий в Кремле, скажем, не в августе 79-го, а в августе-сентябре 82-го, когда Брежнев уже явно дышал на ладан. Тем более, что к этому времени Андропов расстался с постом председателя КГБ, а некоторые из упоминаемых выше руководителей отошли в лучший мир.

Однако даже в ноябре, когда Брежнев уже лежал в гробу, западные кремленологи упорно не хотели соглашаться с тем, в ту пору уже почти несомненным фактом, что его преемником станет Андропов. Русская эмигрантская печать тоже полна была предположений и споров на этот счет.

На этом фоне автор настоящих строк, еще за полтора месяца до смерти Брежнева выступивший с оправдавшимся прогнозом предстоящих кремлевских перемен,* оказался в явном одиночестве.

В статье, опубликованной газетой "Новое русское слово", я писал следующее: "На фоне привычной стабильности пороков советской системы долгие 18 лет можно было наблю-

* См. "Новое русское слово", 26 сентября 1982 г.

дать столь же стабильный, почти не меняющийся персональный состав высшего партийно-государственного руководства. С этим постоянством, вероятно, придется проститься уже в текущем году.

Сохранение у власти Брежнева, уже едва ли способного руководить страной, до сих пор было возможно потому, что это совпадало с интересами каких-то влиятельных сил в Кремле. До поры до времени эти силы были заинтересованы в том, чтобы прикрываться его внушительной фигурой. Речь тут идет не о Черненко и Кириленко, вернее, не столько об этих двоих, сколько о более реальном кандидате на пост генсека. Таким кандидатом уже довольно давно является Анропов, который в этом году с благословения Брежнева существенно усилил свои позиции и сейчас является, безусловно, вторым человеком в государстве. Сегодня Брежнев уже более не нужен и его часы сочтены".

Ввиду наблюдавшихся спекуляций по поводу кандидатуры Романова я счел нужным в той же статье подчеркнуть: "В общем-то не исключено, что в результате какого-либо парадокса, курбета, на которые в критические минуты так щедра история, Романов вдруг станет главой государства. Но — не иначе, как через труп Андропова".

Не было у меня и каких бы то ни было иллюзий в отношении долговечности самого Андропова. Через полтора месяца после прихода его к власти, возражая оптимистам, видевшим в Андропове либерала и хотя бы просто правителя Советского Союза на предстоящее пятилетие, я писал, что при нем не приходится ждать никаких сколько-нибудь обнадеживающих реформ. Не только потому, что система чрезвычайно инертна и руководствуется сейчас главным образом принципом самосохранения, но и потому еще, что сам Андропов пришел к власти в весьма почтенном возрасте. Предположение, что ему отпущено "от силы лет 5-7", при всей своей скромности казалось мне непомерно оптимистичным: я утверждал, что "век Андропова будет несравненно короче".* Так и случилось.

* "Новое русское слово", 23 декабря 1982 г. Той же уверенностью продиктовано мое выступление в той же газете 4 сентября 1983 г.,

Ну, а что ожидает нынешнего генсека Черненко? И, шире, что ожидает в ближайшее время Советский Союз?

20 февраля сего года газета "Нью-Йорк Трибюн" посвятила глубоко ироническую статью присяжным кремленологам, которые "проглядели" упрочение позиций Черненко за спиной тяжело больного Андропова и поэтому не смогли предвидеть, что именно Черненко сменит последнего на посту главы государства и партии. В той же статье порицался американский журнал "Проблемы коммунизма" за появившееся на его страницах упоминание об ухудшении позиций престарелого маршала Устинова, министра обороны СССР, чьей поддержкой, как считается, пользуется Черненко,

Автор статьи, постоянный обозреватель "Нью-Йорк Трибюн" Альберт Уикс, утверждал, что все три опоры советского режима — партия, армия и КГБ — находятся в руках союзников: партией руководит группа "геронтократов", заседавшая в Политбюро — сам Черненко и поддерживающие его Устинов, Гришин и Тихонов (председатель Совета министров); вооруженные силы находятся в безраздельном подчинении у Устинова, КГБ возглавляет ставленник геронтократов Чебриков.

Отсюда делается вывод, что эта группа прочно удерживает власть и в настоящее время у нее нет серьезных соперников.

Вывод — чрезвычайно далекий от действительного положения вещей.

Сам факт выдвижения такого случайного, недалекого и непопулярного человека, как Черненко, на пост руководителя партии и государства свидетельствует лишь об одном — о стремлении кремлевских геронтократов к "преемственности", "стабильности" руководства, иными словами, — к продлению брежневского периода, который в действительности продолжаться не может. Это не что иное, как политика страуса, — нежелание перемен и нелепая уверенность, что в силу этого нежелания их и не будет.

Итак, мы столкнулись с иллюзией стабильности и преем-

прямо озаглавленное: "Недолговечный". Напомню, что смерть Андропова последовала спустя пять месяцев — в феврале 1984 г.

ственности, которая (то есть иллюзия) уже по определению не может быть сколько-нибудь прочной и долговечной.

Судьба Черненко и Устинова, глубоких стариков, могла бы быть предопределена просто их биологической недолговечностью. Однако вероятнее всего, что в самое ближайшее время их бесцеремонно столкнут со сцены, не дожидаясь их естественного конца. Почему? Потому что никто в верхах партии, армии, госбезопасности, кроме самих же геронтократов, не может всерьез делать ставку на Черненко с Устиновым. Опыт правления Андропова показывает, что со старым и дряхлым правителем окружающим смешно было бы связывать судьбу государства и свою собственную карьеру.

Дело, конечно, не только в дряхлости 73-летнего Черненко. Главное — он пришел к власти, как уже сказано, в крайне неблагоприятный для судеб советской власти момент. Всей душой желая продлить период спокойствия и стабильности внутри страны, он и его ближайшее окружение не могут не видеть, что если Брежневу еще удавалось поддерживать эту стабильность мерами консервативными, то Андропов — при всей кратковременности своего правления — вынужден был перейти к мерам исключительно репрессивным, и пути назад попросту нет.

Черненко предстоит проводить, по логике вещей, еще более репрессивную внутреннюю политику. Однако едва ли геронтократы, сидящие на самом вершине, на это способны. Вдобавок они не очень представляют себе, как оптимальным образом сбалансировать внутреннюю политику и внешнюю. По-видимому, этот баланс придется строить на "живой националистической идеологии", как выражался Амальрик, — то есть на "великорусском национализме с присущим ему культом силы и экспансионистскими устремлениями". Оплотом этого национализма в стране являются, безусловно, вооруженные силы, — в частности, потому, что среди командного состава резко преобладают русские и сильно обрусевшие украинцы и белорусы (кстати, система вооруженных сил признает исключительно русский язык), а также и потому, что вооруженные силы — по определению — главные носители

"культы силы и экспансионистских устремлений" в государстве.

Мне уже приходилось писать, что офицерский корпус армии прямо-таки рвется в Афганистан — в чаянии наград, отличий, ускоренного продвижения по службе, а также и просто из желания наконец-то показать себя в деле. В общем, военные — это наименее окостенелая часть советского государственного организма, и если Черненко персонифицирует стремление "назад к Брежневу, назад к привычному и до поры до времени безопасному застою", то Огарков или Куликов на его месте означали бы сдвиг государственного корабля "вперед к пропасти".

Возможность "военизации режима и перехода к откровенно националистической политике... путем военного переворота или же постепенного перехода власти к армии" Амальрик предвидел еще в 1969 году. Правда, он склонялся ко второму варианту — к вероятности постепенного усиления влияния армии, ссылаясь на тот очевидный факт, что год от году возрастает процент военных "на трибуне мавзолея в дни демонстраций". Действительно, пятнадцать лет назад еще не приходилось говорить об абсолютной неизбежности военного переворота — режим по тем временам не исчерпал других возможностей (медленное закручивание гаек — Брежнев, гебистский вариант руководства страной — Андропов).

Станным образом, Соловьев и Клепикова через десять лет после Амальрика вообще обошли вопрос о возможности прихода к власти военных. Этим авторов занимали иные материи. Между тем фактический глава государства уже в брежневские времена должен был являться военным хотя бы потому, что наряду с постами генсека и президента он возглавляет Совет обороны, а в случае войны становится верховным главнокомандующим.

Во главе государства, смысл существования которого не в чем ином, как в завоевании мирового господства при жизни нашего поколения, безусловно, пора уже стать человеку с военным мышлением, проще говоря — профессиональному военному.

Но дело не только во внешнеполитических устремлениях этого государства. Военно-националистическая диктатура необходима сейчас прежде всего для сохранения тоталитарного режима внутри страны. Не на десятилетия, нет, но хотя бы на ближайшие годы. Вопрос стоит так: дальнейшее гниение режима, чреватое сползанием к гражданской войне с тяжелейшими для народа последствиями, или отчаянная попытка спасти режим?

Мы-то уверены, что эта попытка не удастся: советский режим, по нашему убеждению, в любых ипостасях исчерпал себя, и военный переворот может только ускорить его конец. Но сами военные еще не пробовали себя в роли спасителей коммунистического государства. Почему бы не рискнуть, видя, как, с позволения сказать, правили Хрущев, Брежнев, Андропов, как теперь правит Черненко?

...Да, было время, когда большевистское государство могло не опасаться военного переворота. Но сегодня этот переворот назрел. Военные совершенно очевидно рвутся к власти, чтобы навести порядок в стране, победно закончить ведущуюся пятый год войну, вымести крамолу и продлить, насколько возможно, существование системы, как будто нарочно созданной для военной диктатуры.

Это настолько очевидно, что предположительно можно даже назвать кандидата в будущие военно-коммунистические диктаторы.

Маршал Устинов — маршал, как известно, липовый. Участия в сражениях он не принимал, действующей армией не руководил, в годы войны с гитлеровской Германией занимался в тылу вопросами вооружения. Глава госбезопасности Чебриков имеет чин генерала армии — но тоже лишь по тем жалким основаниям, по каким его дальний предшественник Берия получил в свое время маршальское звание. Как бы ни обласкивали Чебрикова сегодняшние кремлевские правители, он, несомненно, понимает, что в нынешних условиях даже он, глава КГБ, не сможет сколько-нибудь существенно продлить срок их пребывания у власти. Ему приходится решать другой вопрос: как бы правильно сориентироваться, как бы самому уцелеть в заварухе, что вот-вот начнется на верхах.

Первым кандидатом в советские военные диктаторы можно считать маршала Огаркова, нынешнего начальника генштаба вооруженных сил СССР. В триумvirат военных, которые сосредоточат в руках верховную власть в стране, могут войти также маршал Куликов и генерал Говоров. Участие в нем военно-морского и военно-воздушного начальства менее вероятно.

В середине мая внимание всего мира привлекла неожиданная смерть командующего советскими войсками ПВО, 62-летнего генерал-полковника Семена Романова. С именем Романова связана позорная страница недавней истории советских вооруженных сил — уничтожение южнокорейского авиалайнера над Японским морем 1 сентября прошлого года, повлекшее за собой гибель двухсот пятидесяти его пассажиров.

Случайна ли связь между гибелью иностранного авиалайнера и смертью генерала Романова — генерала-убийцы, "отдавшего приказ на пресечение его полета", как писали тогда советские газеты, то есть, отдавшего приказ стрелять и сбить мирный самолет? Не думаю, — вот все, что можно сегодня сказать на этот счет. Детали этой связи, возможно, выяснятся в недалеком будущем.

Но нельзя не вспомнить, что конец брежневского периода тоже ознаменовался гибелью важной фигуры московской иерархии — заместителя председателя КГБ генерала Цвигуна. На этот раз можно предсказать, что смертью Романова дело не кончится: за ним — еще до военного переворота в Кремле — последуют на тот свет другие важные персоны. Некоторые деятели высокого ранга в страхе перед насильственной смертью кинутся на Запад. И это явление станет непосредственным симптомом близящегося переворота.

Итак, СССР близок к военно-политическому перевороту, который, быть может, не пройдет гладко, но именно сейчас имеет немалые шансы на успех.

Это не значит, что военная верхушка противопоставит себя партии или КГБ, — нет, она объявит себя руководством партии и одновременно руководством КГБ, в то же время держа в своих руках вооруженные силы. Этот переворот приведет к потрясению общества сверху донизу, — так

много голов полетит, такая перетряска будет произведена во всех слоях государственно-политического аппарата, что андроповская "чистка" покажется сущим пустяком.

Для дряхлого государства это потрясение должно оказаться смертельным, если к тому же вовремя вмешаются внешние силы.

Советская военная верхушка прекрасно понимает то, в чем боятся признаться себе партийные старцы: сегодня коммунистическим государством могут эффективно управлять только военные, опирающиеся на армию и тайную полицию. Пример Ярузельского кажется в этом смысле очень показательным.

Впрочем, советская военная диктатура должна будет пойти дальше, чем Ярузельский. Тому легче — у него имеется пока еще ни разу не подводивший тыл — советский союзник, на него работает могучий польский национализм, ибо польский народ безоговорочно предпочитает диктатуру Ярузельского советской военной интервенции. На него работает и такой мощный буфер, как влиятельная в стране католическая церковь.

На рубеже 60-х и 70-х годов в Польше "народная власть" стреляла по толпе забастовавших рабочих. Сегодня стрелять не решаются. Не потому, что Гомулка был свирепее и кровожаднее Ярузельского. Просто — времена уже не те!

Но в Советском Союзе, если возникнет ситуация, аналогичная польской, — все же придется стрелять. Будущего у советской системы так и так нет, — но военная диктатура способна, по крайней мере, продлить ее существование. Не на много, но продлить.

Есть даже предлог для введения военной диктатуры: близость третьей мировой войны. В последние месяцы в СССР развернулась беспрецедентная пропагандистская кампания, — население убеждают, что Советскому Союзу непосредственно угрожает такая война.

На фоне этих событий будет удивительным, если Черненко продержится до конца 1984 года.

Статья пишется в мае, остающиеся впереди две трети года принесут нам, надо полагать, немалые сюрпризы.



Дора РОМАДИНОВА

ШОСТАКОВИЧ: ГЕРОЙ ИЛИ АНТИГЕРОЙ?

9 августа 1975 года умер Дмитрий Шостакович. В этот трагический день навсегда отошли в прошлое его земные дела, порожденные странно-смятенным и будто безразличным ко всему, кроме его музыки, сознанием. В этот день человечеству навсегда осталась только музыка этого великого художника двадцатого столетия, творческое сознание которого не однажды прорывалось сквозь тот жуткий страх, что более сорока лет сковывал его несчастное, больное тело. Пробивалось и возносило эту музыку на вершины человеческих свершений.

Душой Шостакович умирал так мучительно долго, что, думаю, физическая смерть была для него подобна избавлению. 9 августа 1975 года умер композитор, в последние годы своей жизни обращавшийся уже не к своим земным слушателям, а к кому-то очень высокому и далекому. К Богу? К тому, кто наградил его гениальным даром, этой гигантской ношей, что подчас непосильна была этому слабому человеку?

Может быть, и к Богу, которому он в своей музыке говорил о страданиях и боли, которого молил о прощении за неоправданные надежды, перед судом которого так боялся предстать. В этом человеке некогда, где-то в 30-х годах, поселился страх. Сначала перед людьми. Потом — перед Богом. Как соединялся этот страх с тем дерзанием, которое освещало большинство его опусов? Не знаю.

...Я давно хотела написать о Шостаковиче, о его последних произведениях, в которых он был совсем иной, не тот, каким знали его. Что-то удерживало меня; трудно писать о последних опусах Шостаковича вне связи с личностью этого человека. Писать же о его личности я пока не считаю себя вправе — слишком щепетильна эта тема. Ибо малейшая неосторожность или не деликатность, которой, увы, столь много вокруг нас, а тем более — случайный вымысел или сознательная ложь — и еще более исказится облик этого человека. И без того искаженный облик — искажавшийся и при его жизни, и искажаемый даже теперь, после его смерти.

У Шостаковича было очень мало друзей при жизни. Число их не превысит, пожалуй, и однозначной цифры. Он инстинктивно, а может быть, и сознательно, устранился от общения. Да, он умел "беседовать", не общаясь, находясь рядом и одновременно где-то очень далеко от собеседника. Ведь вряд ли возможно классифицировать как общение неизменные деликатно-стесненные поддакивания Шостаковича, которые сопровождали разговор на любую тему. Увы, это его деликатное поддакивание использовалось — при его жизни, и используется даже после его смерти. С разными целями — политическими, идеологическими, даже лично-спекулятивными. При жизни он знал об этом и как-то равнодушно не замечал. Не замечал потому... Однако, об этом разговор впереди. Разговор, рассчитанный в основном на русского читателя, прошедшего "огонь, воды и медные трубы" жизни интеллигента, художника в Советском Союзе. Потому что западный читатель, даже самый чуткий, пока не способен разобраться в причинах и истоках столь сложного психологического компромисса, побудившего великого музыканта пожертвовать многим в

своей внешней жизни ради возможности выразить — хотя бы отчасти — свой внутренний мир. И именно это коренное различие в российском и западном пути мышления и привело к загадке Шостаковича, гениального музыканта, о котором так много — и одновременно — так мало знает мир.

* * *

6 лет и 55 дней отделяют дату смерти Шостаковича от момента первого публичного прослушивания его Четырнадцатой симфонии, где он впервые заговорил — громко и откровенно — о смерти. 16 июня 1969 года в полдень в Малом зале Московской консерватории собрались музыканты — композиторы, музыковеды, критики, исполнители. Необычное для Москвы жаркое солнце прогрело массивные стены старого консерваторского здания, и в переполненном зале стояла тяжелая духота. Расстегнутые воротнички рубашек у мужчин, оголенные плечи у женщин... Ничто не спасало от духоты. Зал лениво гудел вялыми разговорами, за которыми пряталось напряжение ожидания — того нового, что через несколько минут прозвучит здесь. Ждали новую музыку по-разному — с заведомым восторженным поклонением, со спокойно-рассудительной убежденностью в гении Шостаковича, но и с подозрительной настороженностью, которая сродни, пожалуй, рефлексу опытного охотничьего пса, встретившегося со зверем крупным и опасным. Именно это ощущение и возникло у меня, когда я случайно обернулась назад. Прямо за мной сидел Павел Апостолов, человек, имя которого тогда, в конце 60-х годов, олицетворяло для нас, нового поколения советских музыкантов, те страшные 40-е и начало 50-х годов, что принесли в советскую культуру репрессии, разгромы, публичные надругания над лучшими артистами, художниками, писателями, композиторами. Павел Апостолов — слабый композитор и не менее слабый музыковед — занимал тогда высшие руководящие посты. Сначала в партийном комитете Союза композиторов СССР, а затем — в отделе культуры Центрального Комитета партии. С его участием создавалось печально-знаменитое постановление 1948 года о литературе и

искусстве. И особым объектом "внимания" Апостолова был Дмитрий Шостакович, музыкант, который — по мнению партийных руководителей — уже только в силу исключительности своего дарования был крайне неудобен в "стройных рядах" советских композиторов.

В 1932 году всех, кто способен был писать музыку, объединили в единый Союз, который, подобно правлению колхоза, призван был контролировать творчество "свободных" художников, определять их "производительность труда" и распределять земные блага равномерно между всеми на "трудодень", невзирая на уровень дарования. Вот из этого-то "колхозного хора" все время выделялось несколько голов и прежде всего — голос Шостаковича, что было в целом против правил, исповедуемых апостолами. Шостаковича не раз наказывали за это и, по мнению Апостолова, правильно наказывали.

В тот день, 16 июня 1969 года, я, оглянувшись, увидела в подозрительно настороженных глазах Апостолова еще одно, новое для меня выражение — тревоги и боли. И ошибочно объяснила их его тоской по утраченной власти и былому могуществу. Власти явно было мало, имя Апостолова исчезло со страниц печати. Хотя Апостолов был еще членом партийного комитета Союза композиторов. И сам этот факт наводил на мысль о далеко не исчерпанных силах и отнюдь не похороненных идеях, исповедовавшихся апостолами.

Все уже знали, что новая симфония Шостаковича вновь написана на поэтические тексты. Как и предшествующая — Тринадцатая, как и поэма "Казнь Степана Разина". Но программ на репетиции не было и мало кто был знаком с содержанием текстов. Мне случайно удалось получить отпечатанные на пишущей машинке листки со стихами, положенными в основу симфонии. Властно-суховатый голос сзади попросил разрешения познакомиться с текстами. Не без внутреннего стеснения протянула я листки Апостолову.

Духота заливала зал. Музыканты, уже заполнившие сцену, позволили себе рубашки навыпуск и сандалии на босу ногу. И словно что-то чужеродное, внезапно возник среди пестро-

цветных фигур оркестрантов черно-белый Шостакович. В мешковатом, как будто всегда одном и том же, черном, плохо отглаженном костюме, он словно и не ощущал духоты зала. Он был как бы не из плоти, которая может чувствовать что-то, получать удовольствие или страдать. Неопределенных очертаний фигура его и двигалась как-то боком, словно не доверяя пространству и опорам под ногами. Весь сжавшись в комок, Шостакович, нервно, не контролируя себя, непрерывно потирал щеки, подбородок, лоб. Лицо мешало ему. Вероятно потому, что выражало то, что он хотел спрятать. Как спрятал глаза за толстыми стеклами очков.

"Эта симфония написана на тексты, в которых очень часто вспоминается слово смерть, — отрывисто и хрипловато заговорил Шостакович, и слова его четко прорезали духоту и тишину зала, — но эта симфония не о смерти, а о жизни. О смерти же следует помнить всегда для того, чтобы лучше прожить жизнь... Мы не бессмертны, но именно поэтому надо стараться как можно больше сделать для людей и быть как можно чище в жизни... Ничего утешающего, успокаивающего в моей симфонии нет. Смерть придет к каждому из нас, и мы должны быть внутренне готовы к ней. В каждом своем поступке, в каждом деле мы должны помнить, что мы смертны. И эта мысль о смерти не должна позволять нам творить гнусные дела. Это симфония о жизни!"

Я позже вернусь к этим словам Шостаковича, они необычны для него — он никогда прежде не пытался публично толковать своих сочинений, никогда прежде не формулировал столь откровенно и точно их философской программы. Слово вообще было чуждо ему, он был неловок и невнятен в речи, был неспособен точно разъяснить свою мысль, но, как известно, блестяще компенсировал в музыке этот свой недостаток.

И все же на сей раз великий музыкант решился — словно не до конца доверяя своей музыке — словесно объяснить мысль своего нового детища. И кому? Своим коллегам, музыкантам, которым музыка должна была сказать больше, чем слова. Но, может быть, Шостакович именно потому и предвещал музыку словом? Может быть, он боялся именно музы-

кантов? Но и об этом я расскажу немного позже. А сейчас о самой симфонии и о том, что случилось во время ее исполнения.

Четырнадцатая симфония — вокально-инструментальное сочинение для сопрано, баса и струнного оркестра с большой группой ударных. Основой одиннадцатичастной симфонии стали одиннадцать стихотворений четырех очень разных поэтов, принадлежащих к очень разным эпохам, национальным школам, стилям. Это испанец Федерико Гарсиа Лорка, француз Гийом Аполлинер, русский поэт-декабрист, друг Пушкина Вильгельм Кюхельбекер и австриец Райнер Мария Рильке.

Трагичны темы стихов. Это всегда смерть, а вернее, гибель, вызванная ужасами неестественной, преступно насильственно-исковерканной жизни. Жизни, против которой протестует даже смерть, "плачущая в нас" (финальный дуэт симфонии). Трагизм стихов усугубляется музыкальным решением. Образы зла, разрушения, насилия всегда особо удавались Шостаковичу; их композитор предпочитал радостной безмятежности, покою или светлой лирике. Но никогда прежде не отдавался Шостакович стихии зла столь полно, как в этой партитуре.

Однако, зачем понадобилось композитору обращаться к столь разным поэтам, творчество которых, как кажется, стилистически "выравнить" невозможно? Но Шостакович и не стремится их "выравнивать" и вообще менее всего обращает внимание на разнообразие поэтической стилистики. Для выражения замысла его даже устраивает эта пестрота поэтического стиля. Потому что интересует его в данном случае прежде всего *п о л и с т и л и ч е с к о е* выражение одной и той же темы. Очень важной и многозначительной для него темы, которая столь глубока и широка, что требует истолкования многопланового.

В других своих произведениях последних лет — в Тринадцатом, Четырнадцатом и Пятнадцатом квартетах, в Пятнадцатой симфонии, вокальных циклах на слова Цветаевой и Микеланджело Шостакович развивает ту же тему, но более монологически и вглубь. Здесь же, в Четырнадцатой симфо-

нии, где он впервые откровенно заговорил о смерти, она интересует его пока как философская категория — многозначная в своем выражении. Поэтому композитор сознательно избирает в качестве стихотворной основы своего сочинения очень разные по своей стилистике и аспекту раскрытия темы тексты. Но тексты только на одну тему.

...Симфония эта не заканчивается, а, пожалуй, обрывается. Внезапно обрывается в момент высокого динамического напряжения, будто не дойдя до финальной точки, будто не найдя ее. Пожалуй, впервые Шостакович заканчивает свое сочинение такой откровенной и беспомощной неразрешенностью и незавершенностью, словно символизирующей бессилие человека перед лицом роковой неизбежности небытия.

Но прежде чем оборвется этот последний экспрессивный аккорд симфонии, музыка пройдет долгий путь от тоскливо-зажатой, почти неподвижной и словно бесшумной первой части ("Малагенья"), к первому лирическому центру симфонии — "Лорелее", где впервые сталкиваются, противостоят, борются два основных непримиримых постулата жизни: Любовь и Смерть. Это своеобразная романтическая поэма, баллада с отчетливо видимым театральным действием. Пламя страсти пожирает страдающую, покинутую возлюбленным Лорелею, обреченную на заточение в глухом монастыре. В смерти находит она избавление от мук.

Впервые Шостакович будто находит ответ на мучающий его вопрос — впервые Смерть дана как избавление, как позитивное начало. Потом, в последующих частях симфонии, Шостакович вновь отвергнет это решение, вновь весь его гениальный дар будет протестовать против смерти, вновь он будет бояться, страшиться ее. И лишь потом, несколько лет спустя, в своих последних квартетах вновь истолкует он образ смерти как избавление, как просветленный и естественный финал жизни. Но это будет позже, когда сам Шостакович будет намного ближе к смерти и как-то внутренне примирится с ней, я бы сказала даже — устремится к ней. А пока, в 1969 году, за шесть лет до своей смерти, он еще полон жизненных сил и

не признает смерти. Не понимает ее и страшится. И протестует против нее.

Я не берусь здесь подробно рассказывать о Четырнадцатой симфонии, о формах организации и развития ее материала. Это отдельная и пространная тема. Скажу лишь о той аккумуляции трагического, которая нужна Шостаковичу для выражения его идеи.

Еще один лирический центр симфонии — ее седьмая часть "В тюрьме Санте". Это трагический монолог узника, заживо погребенного в мрачном подземелье, навсегда распрощавшегося с солнцем, травой, лугами. Еще одну смерть живописует Шостакович. Пожалуй, самую страшную — смерть при жизни. Стихотворение Аполлинера "В тюрьме Санте" автобиографично. К счастью, не познавший тюремных застенков, Шостакович силой своей творческой фантазии воссоздает психологию жертвы тюремной камеры.

Музыкальный образ стихотворения русского поэта Кюхельбекера — своего рода катарсис в симфонии. Это второй — после темы любви в "Лорелее" — позитивный образ произведения. Для подлинных ценностей, созданных человеком, нет роковой грани, — словно утешает Шостакович. Смертен человек, а не творения его души. Они бессмертны потому, что они безраздельно принадлежат жизни и неподвластны тлению.

Впервые гармонична и поэтически вдохновенна музыка. Впервые — широкая кантилена мелодии, опирающейся на русский романс. Впервые все просто, выразительно и возвышенно. Казалось бы решение пришло, ответ найден: смерти противостоит бессмертье "вдохновенных дел".

Но последние две части симфонии — "Смерть поэта" и "Заключенный" — вновь ввергают в пучину трагедии, которая здесь в неразрешимости проблемы бессмертия. Художник, безусловно осознающий неординарность своих творений, их особую судьбу, трагически обнажен и беспомощен перед необратимостью движения его собственной жизни к роковому финалу. В последних частях симфонии Шостакович вновь восстает против смерти. Здесь кричит, вопиет живой человек из плоти и крови, человек, жаждущий жизни, даже той мучи-

тельной и трудной жизни, которой живет сам Шостакович. Никакие, пусть самые гениальные озарения человеческого духа не могут отодвинуть мига смерти. Перед ней все равны — мудрец и глупец, праведник и грешник, гений и бездарь. Нет решения этой вечной проблемы. Потому столь внезапно обрывает Шостакович последнюю часть симфонии — на высоком напряжении звука, словно не найдя финального аккорда. Лучше оборвать, не досказать, чем согласиться здесь, в финале с неизбежностью смерти. Он не может утешить или внушить надежду, но и не хочет примириться с трагической логикой завершения жизни.

* * *

Вот такую музыку услышали мы в тот душный июньский день 1969 года. Казалось, эта июньская духота и есть дыхание того адского пекла, где празднует свою тризну, где торжествует смерть. Казалось, это она, смерть, простерла сейчас свои жуткие объятия над массой притихших людей в зале. Между последними звуками симфонии и первыми аплодисментами была долгая, жуткая пауза, как провал в тот потусторонний мир трагедии, мрака, боли и отчаяния, о котором только что пела музыка Шостаковича. Впечатление было огромное и трудное. Профессиональная аудитория отчетливо понимала, что случилось нечто необычное, из ряда вон выходящее: только что прозвучавшее неотвратимо изменило что-то в их музыкантском мире, где, казалось, в последние годы установилось наконец какое-то равновесие. Эти сорок минут музыки разделили, разрезали их мир на "до" и "после", и это "после" означало собой новую точку отсчета в истории советской музыки. Никто бы не взялся предсказать, что принесет с собой это "после" — люди, сидевшие в зале, в большинстве своем прошли через мучительное и унижительное осознание своей полной и безусловной зависимости от монархически-всевластных и анархически-безликих партийных директив. К этому унижительно-рабскому творческому и человеческому послушанию привыкали трудно, но привыкнув, — воспринимали как должное, само собой разумеющееся. И тот же Шос-

такович не раз и не два в присутствии нескольких сотен своих коллег горько каялся в своих "творческих грехах", обещал "исправиться", подчинить свой талант тем безликим и категоричным директивам, что исходили из каких-то недостижимых партийных "верхов". И главным "грехом" Шостаковича была та концентрация трагического, что несла в себе его музыка. Именно за это его и били, прикрывая истинные причины туманными формулировками типа "антинародное, формалистическое искусство".

И вот опять. Опять все тот же Шостакович написал музыку, в которой с небывалой доселе откровенностью заговорил о том, на что негласно было наложено идеологическое табу. Заговорил — пожалуй, впервые в советском искусстве — о самой высокой трагедии человека. О смерти. И как заговорил!

И еще одно обстоятельство смущало зал. После четвертой части — гневно-протестующей "Самоубийцы" — за моей спиной неожиданно громко и резко, как выстрел, стукнуло откидное сиденье стула. Дирижировавший симфонией Рудольф Баршай гневно обернулся в зал и замер. По проходу четко, по военному печатая шаг, шел в сторону выхода Павел Апостолов. Сухо хлопнула дверь зала. Рудольф Баршай выждал паузу явно чуть большую, чем того требовала драматургия симфонии. И начал пятую часть произведения — "Начеку". А я поймала испуганные и недоумевающие взгляды вслед уходящему Апостолову сидевших в четвертом ряду Шостаковича и его жены Ирины.

Демарш Апостолова мог быть истолкован только как демонстративное неприятие нового опуса Шостаковича, как предвестник грядущего скандала, поругания, травли. Лет десять-пятнадцать тому назад подобный демарш обязательно заставил бы покинуть зал и других осмотрительных коллег Шостаковича. Но в 1969 году никто не осмелился последовать за Апостоловым. Хотя, не сомневаюсь, что-то тревожно шевельнулось в иных душах.

...Аплодисменты были долгими. Они возвращали слушателей к жизни из тех темных и мрачных лабиринтов смерти, по которым только что провел их Шостакович. Но смерть, ее

зловещий образ не покинул зала с последними звуками симфонии. Гениальная музыка Шостаковича словно призвала и материализовала ее. Пока музыка рассказывала о смерти, она — эта многоликая, вездесущая и безглазая судия — вновь опустила свою роковую косу. Музыка Шостаковича еще звучала, а у дверей Малого зала, в фойе уже лежал мертвый Павел Апостолов. Больное сердце стареющего партийного босса не выдержало духоты зала. А может быть, он ощутил свое бессилие перед восторжествовавшим — невзирая на все его усилия — гением Шостаковича? И это горькое чувство побежденного человека, привыкшего диктовать и править, и доконало Павла Апостола?

Но может быть, смерть вовсе и не безглаза? Может быть, она точно выбирает свою жертву и есть какая-то не известная нам сила в таинстве искусства? Может быть, действительно оно, рожденное редким и неведомым человеческим даром, воплотившее в себе страдающую и страждущую душу художника, способно все же сотворить чудо? Право же, что-то символическое было в том, что человек, сделавший столько недоброго многим, и прежде всего Шостаковичу, в свой предсмертный час услышал последним нервно-сбивчивую и пророческую для него речь своей жертвы, призывавшей к душевному очищению перед лицом неизбежной смерти. Право же, есть что-то символическое в том, что человек, всю свою жизнь преследовавший все яркое и талантливое в советской музыке, умер в момент торжества гения музыканта, который был главной мишенью в его многолетней борьбе. Сам факт создания и исполнения Четырнадцатой симфонии Шостаковича доказывал всю тщетность и бесплодность усилий этого советского Сальери.

* * *

Я намеренно все время подчеркиваю необычайный трагизм Четырнадцатой симфонии, которая принесла с собой в советскую музыку прежде всего новое качество эмоции и новую ее сферу — безысходность, беспросветность.

...Художник — это как бы врач своего времени, он уста-

навливает диагноз болезни своей эпохи. В этом его истинное призвание, особенно в такой стране, как Россия.

Последние полвека художнику в России запрещено говорить о заболеваниях, его миссию видят в том, чтобы смертельно-больному внушать мысль о цветущем здоровье. Однако истинный художник не может лгать в своем искусстве; так же как не дело врача заниматься здоровыми людьми. Истинные художники всегда слышали ту боль и те страдания, что пытались забить, заглушить санкционированными восторгами и громом аплодисментов.

Я хочу напомнить о таких трагических шедеврах русского искусства, как "Борис Годунов" и "Хованщина" Мусоргского, как "Пиковая дама" и Шестая симфония Чайковского, как повести *Гоголя*, романы Достоевского. Русская музыка, все русское искусство всегда несло в себе прежде всего трагедию, и эта трагедия намного точнее, нежели книги историков и речи политиков, выражала сущность этой великой страны. В России был свой закон в искусстве: каждый истинно талантливый художник неизменно в какой-то момент жизни приходил к трагедии.

Пытались выразить трагическое в своей музыке и советские композиторы. Окружающая их жизнь давала более чем достаточно импульсов для этого. Но именно с трагическим в искусстве наиболее активно боролась советская идеология, усматривая в этом трагическом ту эмоциональную правду о советской жизни, которую пытались скрыть. Цензуре подвергались не только литература, живопись, поэзия, но и музыка, которая, как известно, не выражает точной, конкретной мысли, но эмоционально отражает мир. Почти в буквальном смысле слова руки цензоров беззастенчиво ворошили самое сокровенное в душах художников, выбирая те чувства, что были пригодны для советской власти и запрещая те, что не способствовали ее упрочению.

Уже три поколения художников в России прошли через это жестокое сито цензуры. Многие сейчас уже и не могут представить себе иных путей в искусстве, нежели указуемые руководящими инстанциями. И гремят над стонущей Россией

победные марши и гимны, воспевающие "светлую эпоху". Гремят, заглушая грохот тюремных засовов и плач обездоленных детей. Но и сегодня наиболее талантливые художники слышат трагедию России, она беззвучно поет о себе в их неисполненных партитурах. И сегодня каждый настоящий художник в России приходит в своем искусстве к трагедии.

Так же, как еще полстолетия тому назад, на заре советского государства пришел к ней Дмитрий Шостакович. Пришел потому, что был русским художником, потому что кожей чувствовал боль и страдание, что разлиты были вокруг него. Он был совсем молод, почти мальчишка — ему было всего 24 года, когда задумал он свою трагическую оперу "Леди Макбет Мценского уезда". Откуда в 24 года мог собрать он в себе ту мощную экспрессию, которую выразил в этой музыке? Убеждена, он ощущал, именно ощущал, а не понимал ту трагедию, что совершалась в его стране. Но ощущал так глубоко и точно, как никто из его коллег. Не побоюсь быть понятой прямолинейно и напомним, что опера "Леди Макбет" была написана в 1930-1932 годах, в один из трагичнейших периодов жизни советского государства, в период насильственной коллективизации, когда миллионные массы гибнущих от голода крестьян заполнили города, где они безуспешно искали спасения. Нет, Шостакович не писал оперу о коллективизации. Но он чувствовал висящую вокруг него боль и писал трагедию. Потому что не мог писать ничего иного, потому что был истинным художником. Он писал трагедию тогда, когда газеты и журналы пестрели оптимистическими лозунгами, когда в искусстве Советского Союза приветствовались только маршевые, победные темы и сюжеты.

Написанная Шостаковичем опера всерьез напугала официальные власти. Одна из позорнейших страниц истории советской музыки — постановление ЦК партии от 28 января 1936 года "Сумбур вместо музыки", в котором опера эта была названа аполитичной. Обратите внимание: а п о л и т и ч н о й. Но разве может быть музыка политической? В советском искусстве — может. Политическая музыка — это музыка, воспевающая мифические успехи и победы страны, это музыка ту-

поватых маршей и бодрых песен. А аполитичная музыка — это музыка глубокой и искренней боли за свою страну, за ее судьбу. Это музыка, несущая в себе разочарование, а иногда и безнадежность. Такой музыки не должно было быть в Советском Союзе. По мнению власть предержащих, советская действительность не давала никаких оснований для трагических эмоций. И их почти не было. Почти. Из примерно двух тысяч композиторов, включенных в списки членов Союза композиторов СССР, может быть, лишь десяток художников отваживался вкладывать в свою музыку то, что тревожило их, то, что никогда и никому, даже самым близким людям, не решились бы выразить они в словах. Среди них был Шостакович, проживший труднейшую, тяжелейшую жизнь затворника, сознательно отгородившегося от внешнего мира, подчас голодавшего, потому что в 30-е и 40-е годы его музыку не покупали.

Но как мог он допустить, чтобы его дети — сын и дочь — голодали? Случилось так, что Шостакович практически один растил своих детей, один отвечал за их жизнь, за их будущее. И эта тревога за них, это чувство единственно ответственного — однажды вселившись в него, так и не покинуло до самой последней минуты его жизни. Шостаковичу выпала доля до конца осознать трудное чувство ответственности за своих детей, которым он дал жизнь и которыми он закабалил, связал себя. Связал тем тягостным — нет, не радостным, но тягостным чувством родительского долга, за которым страх за жизнь детей. Страх этот сковал его творческую волю, заставил равнодушно-любезно поддакивать тем, чьи лица он старался не видеть сквозь толстые стекла очков. Именно этот страх за своих детей, которых он не по отцовски, а как-то еще глубже и сильнее любил, вот это ощущение их заложниками, могущими невинно пострадать за один его неверный шаг, за одно опрометчиво сказанное слово — а он-то отлично знал, сколь тяжела рука у его родины-матери — навсегда сковал его уста, практически лишил его слова и оставил ему лишь его верную музу. Но верную ли? И ей вынужден он был изменять, когда пытался — и подчас искренне — извлечь из

струн своей души те звуки, что, как он надеялся, избавят его от мучений страхом за судьбу детей. Он пытался писать бодрые песни и веселые оперетты. Но упрямо вновь и вновь возвращался к трагическому. Потому что дар, доставшийся ему, был подлинно трагическим.

В напряженной внутренней борьбе проводил он дни, недели, месяцы. Это была борьба между слабым, запуганным и болезненно-робким человеком и тем мощным талантом, что нес он в себе. И когда этот мощный дар побеждал слабого, больного страхом человека — Шостакович создавал лучшие свои произведения. Тогда он создавал музыку, в которой размышлял о том, что же случилось с его страной, почему злодейство и подлость торжествует, почему безмолвствует забитый и задавленный народ. Не потому ли Шостакович неожиданно обратился к самой трагической русской опере, рассказывающей о драме запуганного и обманутого народа, — к "Борису Годунову" Мусоргского — и создал в 1940 году (посмотрите на дату!) новую великолепную инструментовку этой оперы?! Инструментовку, в которой еще более подчеркнул трагическое в произведении.

Именно в те страшные тридцатые годы, когда за каждое лишнее слово можно было заплатить жизнью, Шостакович приучился избегать слов и выражать себя только музыкальными образами. С тех страшных тридцатых годов, когда в сталинских застенках погибли люди близкие его душе — маршал Тухачевский, режиссер Мейерхольд и многие другие, Шостакович стал бояться своих слов и предпочитал повторять слова других, написанные и подготовленные для него теми, кто и судил и казнил художников. С тех пор Шостакович, не читая, подписывал своим всемирно известным именем всяческие воззвания, письма протеста и возмущения, подsunутые ему людьми типа Апостолова. Страх, прокрававшийся в его душу страх, заставлял его делать это.

Может быть, именно благодаря своему соглашательству и этому страху перед словом Шостакович не был арестован и не погиб в сталинских тюрьмах в 30-х годах? Ведь всем своим творчеством он словно готовил себе эту страшную судьбу.

Может быть, слово и было той "валютой", которой Шостакович платил за свою жизнь, за право иногда, хотя бы иногда прорываться в своем творчестве сквозь те запреты, что подобно мощной плотине сдерживали поток его могучей фантазии. Практически ни одному заявлению, подписанному Шостаковичем, ни одной его статье доверять нельзя. Более того, нельзя ассоциировать его — большого музыканта — со всем тем, что было подписано его рукой для печати. Мне кажется, что вернее было бы считать все это принадлежащим однофамильцу великого композитора.

Кстати, любопытный факт: Шостакович писал свои нотные рукописи предельно четким и острым почерком, тогда как все остальное написано рукой невротика, буквы скачут в разные стороны, слова неразборчивы и недописаны, строки идут вкривь и вкось.

К сожалению, мало кто знает об этом абсолютном несопадении Шостаковича-композитора и Шостаковича-гражданина и общественного деятеля. Даже в Советском Союзе. Мне было очень грустно читать в открытом письме Лидии Чуковской "Гнев народа" от 7 сентября 1973 года, посвященном травле в СССР академика А.Сахарова, следующие слова: "Подпись Шостаковича под протестом музыкантов против Сахарова доказывает неопровержимо, что пушкинский вопрос решен навсегда: гений и злодейство совместны. Гений и предательство. Гений и ложь".

Да, действительно, имя Шостаковича стоит в ряду имен таких солидных советских музыкантов, как А.Хачатурян, Г.Свиридов, Т.Хренников, Д.Кабалевский, Р.Щедрин, А.Эшпай, К.Караев и многих других, кто подписал статью "Позорит звание гражданина", опубликованную в газете "Правда" 3 сентября 1973 года. Статья эта, клеймящая Сахарова, полна выражений типа: "антисоветские откровения", "несовместимо с высоким званием гражданина СССР и деятеля нашей науки", "позорит честь советской интеллигенции", "чувство возмущения и гневного осуждения"... Но я абсолютно убеждена, что Шостакович понятия не имел за что осуждают и клеймят академика Сахарова. Просто в очередной — в который уже! — раз подписался он под очередным — кото-

рым уже! — документом, подложенным ему партийным начальством. Не уверена лишь я в одном: думал ли он о том, как каким практическим результатам может привести каждая его подпись. Вероятно, все же думал. Потому что был человеком чувствительным, боязливым и наделенным гигантской художнической фантазией. Думал и, вероятно, ужасно мучался и страдал от содеянного. А потом пел эти страдания в музыке.

И все же страх его был сильнее страданий. Чего он страшился? Быть убитым? Или заживо погребенным где-нибудь в сибирской тюрьме? Отрезанным от мира, от жизни, которую он слышал столь причудливо и столь ярко? Думаю, что, скорее, последнего. И доказательство тому — та же Четырнадцатая симфония, ее центральная часть "В тюрьме Санте". Эта, седьмая часть симфонии — самая точная и глубокая в психологическом раскрытии образа заточенного в темницу героя. В гениальной фантазии Шостаковича, очевидно, неоднократно возникала эта страшная сцена терзаний заживо погребенного под многометровыми стенами человека. Человека, наделенного щедрым воображением и тонкими чувствами, человека, любящего жизнь, насильственно вырванного из нее и обреченного в течение долгих лет изо дня в день мучительно и медленно умирать.

Шостакович безусловно хорошо знал это ощущение отторгнутости, изолированности от мира, без которого жизнь теряет всякий смысл. Разве не могли дать ему подобные ощущения те ужасные дни, когда он, легко ранимый и чувствительный, подвергался всеобщему, да, да, всеобщему поруганию и надсмешанию? Разве не могло прийти к нему это ощущение отторгнутости и изолированности от одного только факта невозможности для него, выдающегося музыканта двадцатого столетия, свободно выбирать себе друзей, общаться со своими зарубежными коллегами, знать их творчество, посещать интересующие его музыкальные празднества в мире. Мотивы одиночества, пустоты, оторванности, эти жуткие, стынувшие мелодии все чаще и чаще появляются в его музыке. Они и в Десятой симфонии, и в последних квартетах, и в вокальных циклах на слова Блока, Цветаевой, Микеландже-

ло... Но впервые наиболее ясно и точно формулирует это свое ощущение заживо погребенного Шостакович именно в Четырнадцатой симфонии. Впервые столь откровенно и прямо говорит он о трагедии своей жизни.

Вот почему он так боится исполнения этой симфонии — особенно перед коллегами, музыкантами, которые скорее поймут иносказательный язык его опуса. Вот почему предвзвешивает он первое исполнение Четырнадцатой симфонии своим словом. Словом, конечно же написанным не им, а, скорее всего, его женой Ириной — женщиной образованной, умной и тонкой, с холодным и точным рассудком.

И вновь повторю, что и этому устному слову Шостаковича верить нельзя. Уже ясно, что этим словом он пытается скрыть правду, тот крик своей души, что наконец осмеливается выплеснуть. Да и слово-то это полно противоречий и никак не отвечает существу его музыки. Начать с того, что еще за полтора месяца до первого прослушивания симфонии Шостакович дал интервью корреспонденту газеты "Правда". В напечатанной 25 апреля 1969 года статье "Предисловие к премьере" Шостакович говорит: "Мне хотелось, чтобы слушатель, размышляя над моей новой симфонией, которую я посвятил английскому композитору Бенджамину Бриттону, подумал... о том, что обязывает его жить честно, плодотворно, во славу своего народа, Отечества, во славу самых лучших прогрессивных идей, которые двигают вперед наше социалистическое общество. Такая была у меня мысль, когда я работал над новым произведением". И Шостакович подкрепляет эту свою декларацию цитатой из популярного романа Николая Островского "Как закалялась сталь", которая завершается словами "...чтобы умирая мог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества".

В "Правде" Шостакович выступает как партийный демагог, как тот самый "советский художник", каким его хотели видеть партийные идеологи. Но за его демагогией и ложью — стремление во что бы то ни стало, любой ценой оберечь свое дитя. Стремление, аналогичное, вероятно, защитительной реакции по отношению к своим детям, которое и диктовало Шоста-

ковичу трудные компромиссы. В 1969 году на страницах "Правды" Шостакович пытается защитить свое новое "дитя" от той страшной судьбы, что выпала на долю многих его произведений в 30-е и 40-е годы. И в речи на репетиции 16 июня 1969 года он стремится предложить музыкальным идеологам, будущим критикам свое истолкование симфонии, надеясь, что оно будет им удобно, надеясь, что оно уберезет его творение от случайного высказывания излишне прозорливого и чуткого коллеги. Здесь рождается ассоциация с матерью-птицей, которая, поняв безуспешность открытой обороны своего, полного птенцов гнезда, уводит за собой, подальше от своего домика, хищного зверя, предпочитая ценой собственной жизни спасти своих детей. Шостакович ценой своей гражданской репутации пытается спасти свою музыку, уберечь ее от поругания, от забвения. В Шостаковиче говорит уже, вероятно, не разум, не логика, но опыт, который сродни рефлексу, горький опыт всей его творческой жизни. Все средства для него сейчас хороши, чтобы как-то объяснить тот безысходный трагизм, то ощущение вакханалии смерти, что живут в его музыке. Шостакович сам выдает себя в своей статье в "Правде", когда говорит, что идея Четырнадцатой симфонии возникла у него еще в 1962 году, когда он оркестровал вокальный цикл Мусоргского "Песни и пляски смерти". "Это великое произведение, — написал в "Правде" Шостакович, — я всегда перед ним преклонялся и преклоняюсь. И мне пришла мысль, что, пожалуй, некоторым "недостатком" его является краткость: во всем цикле всего четыре номера. А не набраться ли смелости и не попробовать ли продолжить — подумалось мне. Но тогда я просто не знал, как к этой идее подступиться".

"Песни и пляски смерти" Мусоргского — одно из самых драматических произведений русской музыкальной классики. Мусоргский избрал темами своего цикла наиболее трагические эпизоды жизни человека: мать теряет свое дитя, умирает юная девушка, погруженная в мечты о своем возлюбленном, вьюжной ночью в грезах о тепле замерзает пьяный мужичонка, убивают друг друга — неизвестно во имя чего —

солдаты двух враждующих армий... Герои Мусоргского — жертвы не смерти, а жизни. Беспросветно-мучительной жизни.

Именно о нелогичности смерти, даже той, что обрывает мучительную жизнь, пишет свою симфонию и Шостакович. Еще одно доказательство того: Шостакович посвятил симфонию Бенджамину Бриттену, одному из очень немногих людей, с которыми был он близок в последние годы жизни. Как известно, в творчестве Бриттена тема смерти, осознания, осмысления ее — не только как философской категории, но и как повседневной реальности — была очень важна. Не сомневаюсь, Шостакович не раз беседовал с Бриттеном на эту тему.

И еще раз платит Шостакович — и очень дорогой ценой — за право, за возможность выплеснуть в музыке свои сокровенные чувства, высказать то, что мучает его. Тотчас же после Четырнадцатой симфонии он сочиняет — словно подстраховывая себя откровенной лояльностью на случай возможных неприятностей — восемь баллад "Верность" для мужского хора без сопровождения на слова одного из наиболее официозных советских поэтов Евгения Долматовского.

Симфония номер Четырнадцать обозначена опусом 135, а "Верность" — опусом 136. О чем этот цикл? О Ленине, о родине, о партии. В интервью, напечатанном в газете "Советская культура" 7 марта 1971 года Шостакович сказал: "Я не впервые обращаюсь к этой теме. В частности, Двенадцатая симфония была посвящена образу вождя нашей партии, создателю нашего государства. Думаю, что это не последняя моя работа о Владимире Ильиче. Я и в дальнейшем буду работать над образом этого великого человека".

Опять слова, безусловно, написанные кем-то за него. Опять слова, которым, конечно, нельзя верить. Я убеждена, что кто-то "посоветовал" Шостаковичу написать этот хоровой цикл. Вновь и вновь великого музыканта заставляют низко, в пояс кланяться тем идеям, что исповедуются официальной идеологией. Для идеологов такое музыкальное покаяние Шос-

таковича чрезвычайно важно. Ведь уже сам авторитет его имени — во всем мире и в среде советских композиторов — является для них самой дорогостоящей "акцией" на бирже идеологических сражений. Именно Шостакович должен подавать пример своим коллегам и объяснять всему миру, сколь преданны коммунистическим идеалам советские композиторы. И Шостакович соглашается играть эту неловкую роль на сцене идеологического театра.

Критики не случайно проводили параллели между циклом "Верность" и "Десятью хоровыми поэмами" на слова революционных поэтов, написанных Шостаковичем в 1951 году. Действительно, и по теме, и по музыкальному решению эти два произведения очень близки. К сожалению, близки они и по целям, ради которых написаны. Я обращаю внимание на дату создания "Десяти поэм" и на ее "окружение". После постановления 1948 года, вновь призвавшего Шостаковича писать музыку, "доступную для народа", он создает такие тенденциозные, во многом подорвавшие его гражданский да и профессиональный авторитет опусы, как "Песнь о лесах" (1949), Четыре песни для голоса и фортепиано на слова того же Долматовского (1951), кантату "Над Родиной нашей солнце сияет" вновь на слова Долматовского (1952)... То есть Шостакович подчиняется "мудрым указаниям партии".

Двадцать лет спустя он вновь подчиняется тем же "мудрым указаниям", создавая после Четырнадцатой симфонии цикл "Верность". Только теперь они, эти "мудрые указания" не публикуются в печати и не выносятся на всеобщее обсуждение, а вколачиваются в головы художников в келейной обстановке, в "дружеской" беседе, полной "добрых советов и наставлений". Времена изменились, а с ними и методы руководства искусством. Теперь все делается по принципу: меньше шума и жестче приказания.

И все же Шостакович пишет в последние годы своей жизни очень много яркого и интересного. Он пишет много потому, что его положение всемирно известного композитора позволяет ему более свободно говорить то, что он хочет. Цикл

"Верность" — последняя дань на идеологический алтарь. Оставшиеся ему годы жизни — это годы в целом свободного творчества. Но именно цикл "Верность" подтверждает, что Шостакович уже не в состоянии полностью понять и осознать эту свою творческую независимость и свободу. Уникальную в среде советских композиторов независимость и свободу.

Душевное состояние Шостаковича в последние годы жизни очень тяжелое. Он вновь и вновь обращается к мыслям о смерти, они — навязчивая идея. Вновь страх... Но уже не страх уничтожения силами государственной машины, а страх приближающейся смерти, которую, мне кажется, Шостакович — человек уникальной интуиции и нервной чувствительности — провидит, предчувствует. Он боится смерти, которая должна вот-вот оборвать его мучительную жизнь. Жизнь без просветов и радостей, без житейских утех, без близких друзей. И каждое последующее его сочинение, созданное в эти годы, мрачнее и трагичнее предыдущего. Поэтому он порой повторяется не только в темах, но и в средствах, в настроениях. Если послушать его музыку — его Девятый и Десятый квартеты (1964), его "Казнь Степана Разина", его Одиннадцатый квартет (1966), его романсы на слова Блока (1967), его Двенадцатый квартет (1968), потом его Четырнадцатую и Пятнадцатую симфонии, Четырнадцатый и Пятнадцатый квартеты, вокальные циклы на слова Цветаевой и Микеланджело, Сонату для альты и фортепиано... Если порассуждать над его музыкой последних лет, нетрудно будет ощутить, понять, услышать эти его настроения.

О каждом из последних произведений Шостаковича можно писать и писать. И я обязательно напишу еще. Напишу о поисках выхода из трагической безысходности. Напишу об обращении к потустороннему — как к единственному источнику света, напишу о путях к новой духовности... О Шостаковиче можно и нужно писать много. Потому что он один, единственный в советском искусстве, выразил в своей музыке эту трагическую, бесконечно духовно богатую и такую противоречивую страну — Россию, Советский Союз. Ни-

какой самиздат не может помочь с такой ясностью понять эту страну, как его музыка, точно истолкованная музыка Шостаковича, легально издававшаяся и исполнявшаяся в СССР.

Мои бывшие коллеги — советские музыковеды и критики — пытаются слепить иной образ Шостаковича-художника — светлого оптимиста, певца социалистической державы, мудрого провидца расцвета страны, руководимой коммунистической партией. Очень симптоматично, что даже в некрологе Шостаковича, подписанном Брежневым и всеми членами советского правительства, ни разу не были употреблены слова "трагический" или хотя бы "драматический" в характеристике искусства Шостаковича. Наоборот, некролог пестрел выражениями типа: "верный сын коммунистической партии", "художник-гражданин", воспевший "тому расцвета человеческой личности в революции", "поведавший миру о несгибаемой силе духа советских людей". В некрологе говорилось о том, что Шостакович "утверждал и развивал искусство социалистического реализма" и "черпал свое вдохновение в нашей советской действительности".

Даже Родион Щедрин — умный и чуткий человек и талантливый композитор, выступая на панихиде в Большом зале Московской консерватории, лишь туманно намекнул, что "музыка Шостаковича — это исповедь великого художника, сильная своей откровенностью, беспощадной правдивостью". И потом, вероятно для того, чтобы не быть неверно истолкованным, поправился: "Музыка Шостаковича — всегда гимн человеку, гимн вере в него, хвала его мудрости и доброте". Никогда не поверю, что последнее — истинное мнение Щедрина — музыканта, удивлявшего меня точностью своих реакций.

Это стремление слепить иной, далекий от истинного образ Шостаковича, подчас приводит к парадоксам. Например, известная советская писательница Мариетта Шагинян написала в газете "Известия", что "...музыка Шостаковича... производит на слушателя глубоко оптимистическое,

укрепляющее и взбадривающее действие!" Для писательницы такая полная художническая глухота непростительна!

А главный редактор журнала "Советская музыка" имел крупные неприятности в отделе культуры ЦК КПСС только за то, что в одной из напечатанных в журнале по случаю смерти Шостаковича статей было несколько раз использовано слово "трагический".

Все это — ужасающие фальсификации, не имеющие под собой никакой реальной почвы. Из-за этих фальсификаций, из-за многотомных исследований моих бывших коллег мир знает так много о мифическом Шостаковиче-гражданине и патриоте и так мало о его подлинном человеческом и творческом существе. Этого величайшего композитора двадцатого века предстоит еще открывать.



Марк ПОПОВСКИЙ

ДЕТИ И ЭМИГРАЦИЯ

Советское воспитание в мире западной свободы

Всякий, кто по своей или чужой воле вынужден был покинуть родину, знает, насколько нелегкая вещь эмиграция. Но вот что примечательно: большинство новоприбывших почему-то полагают, что все тяготы приспособления к новой жизни ложатся только на них, а их дети без труда привыкают к "загранице".

"Это глубокое заблуждение, — говорит нью-йоркский психолог Михаил Гальперин, сам сравнительно недавно прибывший из СССР в Соединенные Штаты. — Для детей эмиграция такое же потрясение, как и для их родителей. Но адаптация к новой среде происходит (или не происходит) у них по-другому". Михаил Гальперин и другой советский эмигрант психолог Борис Гиндис были приглашены работать в организацию, которая известна в Америке как Совет по делам семьи и детей. Это добровольная еврейская организация с бюджетом 24 миллиона долларов располагает госпиталями, школами, клиниками с большим штатом социальных работников

психологов и психиатров. В случае возникновения психологических конфликтов специалисты приходят на помощь эмигрантским семьям, независимо от национальностей детей и родителей. Так вот два года назад Совет по делам семьи открыл новую программу, предназначенную для помощи детям, прибывшим из Советского Союза.

* * *

Нужда в такой программе возникла, увы, оттого что среди эмигрантов, живущих на Брайтон Бич, возникло племя юных безобразников, которые принялись грабить квартиры, угонять автомобили, оскорблять полицию и приставать на улицах к прохожим.

В прошлом на этом поприще отличались юные негры и пуэрториканцы. Теперь их полууголовное общество пополнилось новыми кадрами — недавними пионерами и комсомольцами из СССР.

Нельзя утверждать, что подобные возмутители спокойствия составляют большинство русской молодежи. В школе имени президента Линкольна, где учатся дети не менее пятнадцати национальностей, приехавшие из России известны как самые блестящие ученики.

Но полиции известно и то, что именно "русские" вместе с неграми и пуэрториканцами ведут себя наиболее агрессивно. Отчего же такое резкое расслоение? Откуда среди евреев, которые в СССР были ниже травы и тише воды, возникли эти кандидаты в преступники — иначе их и не назовешь.

Мнения психологов расходятся. Михаил Гальперин склонен объяснять происходящее прежде всего социальными причинами, в частности советским воспитанием. Борис Гиндис готов скорее говорить об общечеловеческих закономерностях, которые выявляются в каждой последующей волне эмиграции. Но похоже, что оба в одном сходятся. Начинается все в тот момент, когда подросток впервые выходит на улицу и, влившись в многонациональную толпу, задается вопросом: "Кто я?" Это очень важный вопрос, ибо дети сознательно и бессознательно подражают взрослым. Они отождествляют

себя с определенной национальной, религиозной и социальной группой и формируются под влиянием идеалов этой группы. Такая принадлежность к группе наполняет ребенка чувством безопасности, социальной устойчивости в мире, где "наших много". Но в эмиграции "наших" мало. Да и какие это "наши"? От русского самосознания юные эмигранты отрезаны, от еврейского — тоже, ибо большинство из них ни еврейского языка, ни иудаизма из СССР не привезли. Американские дети (и черные и белые) также отталкивают их из-за незнания английского, различия навыков и моральных ценностей.

Самый трудный возраст — 13-15 лет. Подросток уже привез кое-какие привычки и взгляды, но в культурном и нравственном отношении еще не сложился. Столкнувшись на улице и в школе с американскими сверстниками, он испытывает первые обиды. "Ты русский? Это в аши сбили корейский самолет? Это твои вторглись в Афганистан?" Естественно, юный эмигрант стремится во что бы то ни стало отделаться от своей "русскости". Те, кому 9-11 лет, просят; "Папа, не говори со мной на улице по-русски". Заявляют: "Я не хочу читать русских книг, не желаю дружить с русскими!" А те, кто постарше — 14-15 лет, всеми силами стараются прорваться в общество своих американских сверстников, слоняющихся по улицам. Они выучивают полсотни английских грубых слов, одеваются в драные джинсы и куртки, начинают тайно курить наркотики и выпивать...

При всем том у вновь приезжих остается чувство своей второсортности. Они не могут на равных поддержать разговор с коренными американцами, которые толкуют о знаменитом спортсмене или актере, не понимают каких-то шуток, не знают общеизвестных героев телевизионных передач. Над ними смеются. Дети из России чувствуют себя униженными, неспособными, у них нет языка и знаний, чтобы ответить своим обидчикам. Так возникает отталкивание от американской среды, замыкание в крохотное общество таких же бедолаг с ущемленным самолюбием и чувством своей второсортности. Возникает неверие в себя, психология беспомощности. Подросток не верит, что когда-нибудь он серьезно освоит англий-

ский. Он и не пытается это сделать, а болтает со своими приятелями-эмигрантами на панельном диалекте, состоящем из смеси русских и английских слов и словечек.

Срастись с обществом своих ровесников детям мешают и некоторые прошлые привычки. К примеру, для советского школьника не выполнить домашнее задание или списать контрольную — дело вполне естественное. Американские дети куда более щепетильны. Списывание считается здесь занятием грязным, недостойным. "Русские списывают? Значит, они глупы и бездарны. Подонки эти русские..."

Другая черта, отдаляющая наших детей от американцев, также привезена оттуда: советский человек нетерпим ко всякому, кто выделяется из толпы. В любом городе в очередях всякому непохожему на других кричали: "А еще шляпу наддел! А еще в очках!" Шляпа считалась признаком принадлежности к чему-то чуждому толпе "простых тружеников". Советского массового человека раздражает слишком яркая одежда прохожего. Он злобно реагирует, если видит, что в подъезде целуется парочка. Его возмущает любой знак чужой независимости: "Ишь, ты, выискался умный..." Американцам с их понятием о прайвиси все это непонятно и чуждо.

* * *

Мир поделен для советского гражданина на "мы" и "они". В нашем мире все прекрасно и восхитительно, "они" — империалисты, у которых все плохо. Этот двойной стандарт оборачивается в эмиграции антипатией ко всему американскому, и особенно к черным и выходцам из Южной Америки.

Мы ведь и в СССР баловались шовинизмом: чукмеки — дураки, а евреи — сила. Маркс — еврей, Эйнштейн — тоже. Система "мы" и "они" позволяет не видеть собственные недостатки, шовинизм наполняет самолюбованием, ощущением иллюзорного могущества. В многонациональном Нью-Йорке такие настроения едва ли могут помочь новоприезшему...

Но, может быть, самое печальное наследие, которое мы и

наши дети привезли с собой, — это наша неспособность к выбору. Всевластная государственная машина диктовала нам выбор профессии, друзей, места жительства, в некоторых случаях даже жены. Человеку давали понять, что рассуждать нечего — за него все решено "там". Невзирая на разницу способностей, всех заставляли учиться в школе. Не пойдешь в класс — родителей вызовут на педсовет, у отца на работе будут неприятности.

После окончания школы выбора опять же не было: 80% выпускников должны пойти работать на производство. Остальные в течение месяца должны (на всю жизнь!) принять решение о будущей профессии и подать заявление в строго определенный институт. Не попал в институт — пошел в армию. Другого выбора нет. Так формировался человек, неспособный серьезно и твердо выбирать.

В Америке тоже есть закон о всеобщем обучении, но никто не тащит ученика в класс силой. Зато если ты увлечен в школе спортом или музыкой, физикой или журналистикой, с тобой будут заниматься в специальных кружках и кабинетах. Учителя уделяют тебе дополнительное время и внимание. Но ты должен проявить инициативу. Суметь выбрать, найти, узнать, показать себя. От школьника ждут выбора. Но наши дети из всего этого поняли одно: если не ходить в школу, за это ничего не будет. Надо лишь вовремя вытаскивать из почтового ящика записки учителя, адресованные родителям.

Из выбора: школа или улица избирается улица. Подросток получает свободу. Но что делать с этой свободой, — неизвестно. К свободе мы не приучены. Проще всего воровать, выпрашивать или отнимать деньги у прохожих, угонять чужие автомобили, а затем за гроши продавать снятые с этих машин детали. А можно и в чужую квартиру забраться: благо время есть, свобода тоже... Американские законы (не чета советским!) очень мягки к детям до шестнадцати лет. Воришка, доставленный несколько раз в суд, слышит от судьи одно и тоже: "Если ты еще раз совершишь..." После третьего "если" мальчишка начинает понимать, что в этой стране он до шестнадцати лет может делать все что угодно.

Конечно, есть еще родители. Но по ряду причин бывшие граждане страны социализма часто оказываются не слишком хорошими воспитателями.

Дело не только в личных качествах отца или матери. В том, что среди нас много скверных родителей, в известной степени виновато наше прошлое. Вот уже более шестидесяти лет советские власти проводят политику противопоставления родителей и детей. Еще в годы революции был брошен лозунг, призывающий юных отпрысков купеческих и дворянских детей переходить на сторону победоносного союза рабочих и крестьян. И нередко случалось, что отец и сын воевали по разные стороны фронта. Потом детей стали натравливать на их верующих родителей. Оскорбительные для старших антирелигиозные карнавалы молодежи подрывали внутрисемейные связи. В начале 30-х годов в качестве пионера номер один был официально объявлен Павлик Морозов, прославившийся тем, что донес в ОГПУ на своего отца-кулака.

Погибший в лагере отец Павлика кулаком не был, но миллионам детей донос на родителей был преподнесен как образец для подражания. Среди детей была раздута кампания доноительства. Недавно удалось подсчитать, что в 30-е годы разными лицами за предательство было убито 42 ребенка! В эпоху сталинских чисток возник еще один вид предательства: у детей требовали публичного отказа от своих арестованных родителей — "врагов народа".

Лозунги, называвшие Сталина отцом, а партию матерью, были не просто лозунгами, но основным принципом власти. Понятия — Сталин, Партия, Родина — выдвигались как значительно более важные, нежели Мать, Отец, Семья. Хрущев эту идею довел до крайних форм: он хотел, чтобы государство воспитывало всех детей в прямом смысле этого слова. По его инициативе в стране возникла сеть школ-интернатов, где оторванные от родителей дети проводили месяцы и годы.

Тенденция эта сохраняется в СССР и поныне. Годовальный ребенок уходит из материнских рук в ясли, потом в детский сад, порой на целую неделю. Советские ученики проводят в школе не пять дней, как молодые американцы, а шесть.

Группы продленного дня, пионерские лагеря, военные школьные игры — все направлено на то, чтобы вырвать воспитание ребенка из рук родителей и передать государственным учреждениям.

Многие родители стали считать, что не они, а школа, пионерский отряд, комсомол ответственны за их сыновей и дочерей. В семьях возникло убеждение, что плохие поступки их дети совершают оттого, что учительница не досмотрела, а директор школы не проявил достаточной степени строгости. Мы привезли с собой эту безответственность.

Казалось бы, в Америке влияние семьи должно укрепиться, но вмешались новые обстоятельства.

"На Брайтоне, — рассказывает Борис Гиндис, — часто можно видеть такую картину: здоровенный битюг-папа просит своего семилетнего малыша-сына перевести суперу или аптекаря свою просьбу. Ребенок-переводчик быстро осваивает свою роль первого лица в семье, где все завязано от его английского. Он может и оборвать отца в разговоре и наругать ему. Ведь это так приятно чувствовать свою незаменимость. Особенно если тебе семь лет..."

Психолог говорит, что эмиграция нередко приводит к смене ролей. Родители, не знающие английского, потеряли в глазах детей остатки авторитета. Конечно, можно взяться за ремень (некоторые папы таким образом и надеются восстановить свой престиж), но страх наказания не самое верное средство вернуть уважение к старшим.

Часто эмигрантская семья (как, впрочем, и советская) не может правильно направлять ребенка еще и потому, что в ней нет отца. Мы привезли с собой в Америку смещенный демографический состав, типичный для СССР: среди русских примерное соотношение мужчин и женщин 2:3. В Советском Союзе по официальной статистике на 2 миллиона девятьсот тысяч браков ежегодно приходится миллион разводов. В эмиграции семьи распадаются еще чаще. Разрушение семей — еще одна причина безнадзорности и деморализации молодежи.

Специалисты, наблюдавшие детей на Брайтон Бич, замечают, однако, что дело не только в том, есть ли у ребенка

отец. Важен и другой вопрос — как родители ведут себя в семье. "В Советском Союзе, — говорит психолог Гальперин, — миллионы людей убеждены, что обманывать государство — не грех. Кражи в заводском цехе, в магазине, на складах давно вошли в обиход советского гражданина. Вошли — и привезены с собой в эмиграцию. Многие из эмигрантов относятся к американским организациям, в том числе к еврейским, которые доставили их в Штаты и помогли устроиться, точно так же, как к советским. Они, например, не считают зазорным получать государственные пособия и при этом утаивать побочные доходы."

Психолог Михаил Гальперин вспоминает встречу с матерью подростка, уличенного в грабеже квартиры и перепродаже краденых автомобильных частей. Женщина пришла в поликлинику и со слезами на глазах спрашивала: "Откуда мой сын научился воровать, как он мог решиться взять чужое?"

Голос матери звучал при этом вполне искренне, да она и была искренней в тот момент. Скажите ей, что она сама подапа сыну пример, — она удивится. А между тем она как неимущая получает в Америке вейлфер (денежную помощь от государства), фудстемпы (талоны на продукты питания), медикейт (право на бесплатную медицинскую помощь) и, несмотря на это, работает, незаконно скрывая свой доход от организаций, которые ей помогают. "А что я такого особенного делаю? Все так живут!" — восклицает она.

Подобных примеров можно привести множество. Так что ссылка на то, что "все так живут", не лишена оснований.

Есть семьи, где полагают, что самое главное — дать ребенку образование. Другие полагают наиболее ценным воспитание нравственное. Третьи основной ценностью считают деньги, вещи, достаток. Дети слышат суждения родителей и мотают на ус. Боюсь, что страсть, например, к угону чужих автомобилей, которой болеют мальчишки с Брайтон Бич, в значительной мере навеяна семейными разговорами о машинах. Известно, что в СССР собственная машина была символом высшего успеха и процветания. И вот теперь, когда она стала до-

ступной, вокруг ее покупки в эмигрантских семьях идут бесконечные страстные дебаты: покупать ли новую или подержанную, дорогую или сначала дешевую, той марки или другой. И ребенку не терпится поскорее сесть за руль...

И вот результаты: пятнадцатилетний житель Брайтона бросил школу, украл с друзьями автомобиль, чтобы "покататься". Потом пересел в другую украденную машину, погнав ее с бешеной скоростью, налетел на столб. Один мальчик погиб, остальные ранены. Заводила вылетел через ветровое стекло, поранил голову и позвоночник, стал калекой. Кто виноват? Улица? Слишком мягкие американские законы? Возможно. Но дело, вероятно и в том, что образование и мораль никогда не считались подлинными ценностями в доме этих подростков. Автомобиль — другое дело. Автомобиль — это вещь...

У того типа молодых людей, что зовется в Америке "бед бойз", нет духовных идеалов. Нет интереса ни к своему еврейству, ни к русским культурным ценностям. Нет у них политических симпатий и антипатий, полностью отсутствует религиозность. Они живут минутой. Кроме этого равнодушия к идеям и взглядам, из советского прошлого вывезена симпатия к сильной власти, к твердой руке.

В откровенных разговорах с психологом дети признаются, что жесткая дисциплина советской школы им более по душе, чем свобода американской. Очевидно, такого же взгляда держатся и их родители.

Многие из них, не слишком надеясь на свой родительский авторитет, переводят детей из обыкновенной школы (так называемой паблик скул) в школы еврейские — иешивы. В иешивах, по некоторым подсчетам, учится 23% детей из эмигрантских семей. К религии все это отношения не имеет. Просто в иешиве классы меньше, дисциплина строже, и весь дух ближе к советскому. По словам психологов, в иешивах есть догма, которой обязывают придерживаться учеников. Ученику объясняют: "Ты должен говорить, что веришь в Бога". И хотя многие подростки издеваются над верой, родители настаивают на иешивах. В конце концов разве на

уроках обществоведения в советской школе ученики не смеялись над панегириками вождям? Везде смеются. Зато — дисциплина...

А как обстоит с девочками из эмигрантских семей? Психологи считают, что в целом "трудных" девочек значительно меньше, чем мальчиков. Но школу бросает и "слабый пол". На Брайтоне часты браки, когда замуж выскакивают девочки, едва достигшие шестнадцати лет. Одна из причин сверхранних браков — желание выйти из-под власти семьи, вырваться на свободу. Впрочем, свобода не всегда оборачивается браком. Нередко четырнадцатилетние и пятнадцатилетние просто уходят на улицу, где заводят себе поклонников лет на пять-шесть старше.

Вообще половую жизнь юные эмигрантки начинают на американский манер, рано, но в отличие от американок мало что знают о средствах предупреждения беременности. Даже в тех случаях, когда в школе или у врача им предлагают соответствующие препараты, они отказываются от них. Сказывается привезенное из СССР недоверие к любым средствам, кроме аборта. Браки шестнадцатилетних тоже, как правило, начинаются с беременности: по старой российской традиции считается, что не надо мешать рождению первого ребенка. Дети рожают детей...

Родители девочек считают зазорным обсуждать с врачом или психологом поведение своих дочерей. С давних пор "сор из избы" на Руси выносить не любят. Впрочем, сор в избе беругут и родители хулиганствующих молодых людей: когда психологи напечатали в русской газете объявление, в котором предложили помощь родителям, имеющим трудности с воспитанием детей, откликнулся... один человек.

Жизнь в новой стране порождает у молодежи (как, впрочем, и у взрослых) ложные иллюзии. В СССР родители хорошо знали, что ребенку надо дать высшее образование. Это должно было спасти от тяжелого заводского труда, обеспечить его материально.

В рабоче-крестьянском государстве, как известно, физический труд не в почете. Ради инженерного или любого другого диплома родители не жалели ни сил, ни денег.

В эмигрантской среде нашлось немало семей, где образование на шкале ценностей снизилось. Возникла надежда, что в Америке успеха можно добиться с помощью спекуляций, торговли и вообще бизнеса, для которого совсем не обязательны знания. Психологам приходится наблюдать этот комплекс ложных иллюзий и у детей.

Вот один из таких шестнадцатилетних "идеалистов". Бросил школу, крал машины, оскорблял полицейских. Психолог рассказывает: "Спрашиваю: "Что будешь делать?" — "Буду красиво жить. Учиться трудно, да и к чему? Придет ядерная война — все погибнем. Надо наслаждаться жизнью, пока не ударила война". — "Но ведь у тебя нет денег. Не лучше ли вернуться в школу, потом получить профессию, зарабатывать? Тогда и наслаждаться можно..." — "Это долгая история. Я лучше в ювелиры пойду. Ювелиры все богатые". Потом, заговорщически подмигнув мне, добавляет: "Деньги можно и без учебы добыть. Надо только пушку (револьвер) занять..." — "Но ведь арестуют?" — "Ну, не все попадают. Да и в тюрьме жить можно".

Что это — лень, неорганизованность или психическое нарушение?

Психолог Борис Гиндис соглашается с тем, что судьба многих детей с психологической деструкцией в СССР была бы более спокойной. Хочешь — не хочешь, советская школа вместе с милицией дотягивает всех до выпускного класса — всеобуч! Американская школа в каком-то отношении более строга. Она превращена в своеобразное сито, которое призвано выявлять одаренных.

Сам факт отсталости не является трагичным в том смысле, что такой ребенок вырастет человеком без профессии. Для ее получения у него вполне достаточно возможностей.

Но в этой статье речь в основном идет о потенциальных правонарушителях. Есть ли возможность помочь им стать полноценными, нормальными людьми? Психологи из Брайтон-центра, организованного Еврейским советом по делам семьи и детей, считают, что есть. Но, конечно, психологи и врачи достигли бы большего, если бы их поддержала вся эми-

грантская общественность. Однако, с горечью отмечает Борис Гиндис, у недавних советских граждан нет ни малейшего желания совместно разрешать общие проблемы. К примеру, дети наши любят играть в футбол. Они хотели бы создать свою национальную команду, но для этого нужны деньги. Дети ирландцев, немцев, итальянцев и пуэрториканцев, живущие на Брайтон Бич, получают помощь от своих национальных общин. У эмигрантов из СССР нет и намека на общину или какое бы то ни было общественное объединение. "Я заходил в несколько ресторанов, говорил с их богатыми владельцами: "Не хотите ли поддержать группу русских ребят-футболистов?" — и в ответ всегда слышал: "А зачем мне это надо?"

...Можно многое сказать по этому поводу. Но я приведу одну только цифру, полученную социологами, которые уже здесь, в Америке, опрашивали новоприбывших. На вопрос: "Почему вы покинули Советский Союз?" около семи-десяти процентов опрошенных ответили: "Ради детей".



Доналд РЕЙФИЛД

ИСПОВЕДЬ ВИКТОРА Х. — РУССКОГО ПЕДОФИЛА

У Гумберта Гумберта, любителя нимфеток и автобиографа, от лица которого написан роман Владимира Набокова "Лолита", был прототип: Виктор Х. В 1912 году Виктор (как он себя называет) написал один из самых откровенных и захватывающих документов своего времени и предложил его для публикации пионеру сексуальной психологии Хавелоку Эллису. Как история сексуального развития и сексуальных отклонений документ, написанный Виктором, не менее красноречив и подробен, чем история других пациентов Х.Эллиса. И все же случай Виктора — благодаря его недюжинному уму и своеобразному характеру — из ряда вон выходящий. Исповедь Виктора не просто регистрация событий и симптомов, а интереснейшее — с точки зрения и литературной и социальной — свидетельство.

Американские издатели Х.Эллиса предупредили ученого, что включение в "Исследования психологии секса" подобного материала может помешать выходу книги в свет. Во фран

цузском же издании этого капитального труда переводчик и редактор не чувствовали себя стесненными цензурными рамками. Однако исповедь Виктора была напечатана мелким шрифтом, без всякой редакторской правки (хотя исповедь написана живо и грамотно, французский язык автора весьма специфичен), к тому же помещена исповедь была в приложении к шестому тому, посвященному сексуальной жизни в период беременности. Таким образом, этот интереснейший материал остался незамеченным.

Кем же был Виктор Х.? Мы вправе задать этот вопрос, убедившись, что все его откровения о детстве, России, Италии, греховности — не вздорные измышления циничной фантазии, а подлинный документ.

Естественно, сексуальному опыту веришь или не веришь в зависимости от того, насколько он кажется достоверным. Но когда пишешь действительно анонимную исповедь, то ты просто обязан замести все следы, не оставить никаких улик. Во-первых, следует изменить все имена. Виктор не называет своей фамилии и изменяет имя. Ничего он не рассказывает и о семье, чтобы не раскрыть себя. Мне удалось выяснить, что он на самом деле родом из вполне уважаемой и интеллигентной, но несколько безалаберной дворянской семьи с Украины и что учился он в Турине. Так как Виктор настойчиво просит не раскрывать его инкогнито, я и впредь не буду называть его истинного имени.

О Викторе Х. мы бы никогда не узнали, если б не его исповедь. Он и сам понимал, что ничего более значительного он в своей жизни не сделал. Насколько я могу судить, наследников у него тоже не осталось. Единственное свидетельство о нем — сексуальная автобиография, написанная в зрелом возрасте.

Подлинность исповеди не вызывает сомнений. Ее автор не выставляет себя сексуальным гигантом: лишь изредка похвально отзывается о своих половых способностях и вовсе умалчивает о своей мужской привлекательности. В то же время он гордится своим интеллектом. У него и впрямь есть основания для этого: Виктор — настоящий полиглот. Помимо родного русского, он свободно владеет французским, англий-

ским, украинским, итальянским, знает латынь и древнегреческий. Он придерживается высокого мнения о своих способностях, проявленных в детстве, когда ему было десять-одиннадцать лет, а также в период учебы в Италии.

Пишет он поразительно лаконично. Хотя Виктор и не окончил институт в Турине, где посещал лекции всего по двум предметам и так никогда и не защитил диплома, но все же иностранец, получивший аттестат зрелости за границей и поступивший в конце девятнадцатого века в высшее учебное заведение с целью стать инженером-электриком, мог бы гордиться собой. Однако, судя по краткости этих сведений, ему не хотелось подробно останавливаться на своих более чем посредственных профессиональных достижениях.

Есть и другие свидетельства, что исповедь Виктора Х. — это, хоть и краткое, но правдивое жизнеописание. Никто другой, кроме выходца с юга России, не смог бы в 1912 году писать с таким знанием дела о школе, семье, политической и интеллектуальной жизни провинциальной России. Материалы обо всем этом были просто недоступны. Подробности, приводимые Виктором, зачастую и укрепляют наше представление о тогдашней России, и противоречат ему. Именно это и делает исповедь столь важным социальным документом.

Что касается сексуального опыта, то здесь автор исповеди проявляет куда больше хладнокровия, чем большинство из нас. Его предрасположенность к девочкам — далеко не страсть извращенца, видящего в нимфетках еще один источник наслаждений. Ему, как кажется, мы можем верить больше, чем самим себе. Уже тот факт, что он не прибегает к обычным порнографическим штампам, внушает доверие.

Сексуальный опыт Виктора невозможно свести к простому перечислению побед и вариациям на эту тему. Его исповедь — человеческий документ, а не история болезни. Место этой исповеди — среди оригинальнейших литературных произведений двадцатого века.

В заключительной части автобиографии, пронизанной экзистенциальным отчаянием, Виктор говорит о том, что больше не верит в устоявшиеся или абсолютные ценности:

"Мне около сорока. Последние восемь-девять лет я предавался лишь безудержному сладострастию. Все эти годы я испытывал физическое наслаждение, но был глубоко несчастлив. Я вынужден был расстаться с женщиной, которую любил, и потерял надежду обзавестись семьей. По воле случая я жил самым вздорным образом, хотя был рожден — я в этом убежден — для спокойной моногамной жизни. Я заразился венерической болезнью, которая причинила мне невероятные страдания как физические, так и моральные. Я стал онанистом. И это при том, что с детства больше всего на свете я боялся венерических болезней и онанизма. Я стал жертвой постыдных и жалких страстей. С тех пор как я утратил целомудрие, здоровье мое расстроилось. Нервы на пределе. Меня мучат кошмары и бессонница. Даже секс стал для меня не более чем стимулом к мастурбации. Я презираю самого себя. Жизнь моя бесцельна, я утратил интерес к чему-либо дельному, порядочному. Свои обязанности по службе я выполняю совершенно равнодушно, мне все трудней и трудней работать добросовестно. То, что прежде давалось мне легко, ныне стоит мне мучительных усилий. Будущее кажется мне все мрачней...

Я, наконец, покинул Италию и обосновался в Испании: здесь мне больше платят. Я меняю страны, но как мне изменить свое внутреннее состояние? В отношении себя я — пессимист. Я по горло сыт самим собой, и это уже не первый год. Меня все чаще и чаще преследует мысль о самоубийстве. Физически я чувствую себя все хуже и хуже, но мои сексуальные инстинкты все так же остры, а вместе с ними и тяга к онанизму".

Несмотря на то что воспоминания писались наспех и объем их невелик, они предоставляют уникальную возможность ознакомиться изнутри с моралью и нравами России конца девятнадцатого века. Насколько я знаю, больше не существует подобных исповедей или научных исследований о русском отношении к сексу. Виктор рисует новую картину нравов, царящих среди независимо мыслящих русских.

"Европейцы практически не представляют, насколько об-

разованные классы России нерелигиозны и атеистичны. О России судят по таким исключительным фигурам, как Толстой и Достоевский. Между тем их мистицизм, их христианство абсолютно чужды просвещенным слоям России. Женщины в нашей стране столь же нерелигиозны, сколь и мужчины. Мы, русские, не можем постичь, как образованные люди в Западной Европе, и прежде всего в Англии, могут настолько серьезно относиться к религии. Для нас удивительно, как разумный и порой образованный англичанин может ходить в церковь и выслушивать плоские и банальные проповеди... Разве мы можем допустить мысль о том, что религия необходима и неистощима, если все наше образованное общество, цвет нации, миллионы индивидуумов живут, не чувствуя ни малейшей нужды в вере?.. В России не существует таких четких и чопорных социальных отношений, как в Англии. Даже среди самой высшей русской знати нету такого ярко выраженного духа кастовости, как среди английской или немецкой аристократии. Профессор французского языка М.Лансон, бывший наставник нынешнего российского императора, вспоминает в своих мемуарах, что при дворе Александра Третьего царил атмосфера легкости и свободы, граничащая с распущенностью, и что мало кто считался с этикетом. Общепринятые нормы не слишком согласуются с российской этикой. Даже самые добродетельные дамы высшего света имеют весьма размытые представления о сексуальной морали и не в состоянии уразуметь, почему кто-либо может неодобрительно относиться к слабостям прекрасного пола. В России незамужняя мать не опускает глаз в чьем-либо присутствии. Ее всюду принимают, и она, если возникает необходимость, говорит без всякого смущения, что не замужем и что у нее есть ребенок".

Незадолго до того как русский романист Владимир Набоков переехал в Америку и стал американским романистом, Эдмунд Вильсон обратил внимание Набокова на воспоминания Виктора, которые можно было найти в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Нет сомнения, что "Лолита" своей темой, сюжетом, причудливой чувственностью и образом мыслей Гумберта Гумберта — героя этого самого утончен-

ного англоязычного романа Набокова — во многом обязана Виктору. Интерес Набокова проливает свет на его собственную увлеченность темой детства и секса.

Читая исповедь Виктора, понимаешь, что к сексу его толкает не чувственность, а любопытство.

"В школьные годы я был настоящим книжным червем. Часами напролет я перебирал сотни старых книг... Как-то на глаза мне попался трактат о деторождении и маленькая брошюра о венерических заболеваниях... Из любопытства я начал читать, и тут мне все открылось. Хотя ни в одной из книжек коитус прямо не описывался, но, читая между строк, можно было легко вообразить себе что к чему. На меня нахлынули воспоминания, связанные с сексом. Я видел их все сразу. Одно воспоминание подкрепляло другое. Я припомнил почти забытые игры с генеральскими сыновьями, скабрезные шутки кузена и деревенских девчонок, случку собак, случай с Машей и т.д. Слова о клиторе, "женском органе удовольствия, аналогичном мужскому пенису, способном изменяться так же, как пенис", меня особенно волновали. Я догадался, что женский половой орган находится там же, где и пенис. С жадностью я перечитывал те же строки снова и снова. Во время чтения у меня впервые в жизни произошла эрекция. Отныне мне было все ясно. Мне едва минуло одиннадцать с половиной".

Виктор утверждает, что повышенная сексуальность является следствием живого ума и что познания в области секса скорее возбуждают, чем просвещают. С годами секс всецело овладевает его воображением. В конечном счете, секс — половой акт с последующей мастурбацией — становится единственной пищей для ума.

Вторая отличительная черта Виктора — пассивность. Обычно эту черту не причисляют к мужским половым достоинствам. Виктор почти никогда не берет на себя инициативу. Он не противится, даже способствует тому, чтобы все шло своим чередом. Поначалу его равнодушие вполне искренне, после притворное. Он выказывает недоверие и нежелание, что, как правило, побуждает девушек и женщин соблазнять его.

"Я без труда находил женщин, которые изъявляли готовность "просветить" меня в области секса. До сих пор моя притворная невинность и абсолютная наивность имеют успех. Это едва ли не единственный надежный способ "возбудить" женщину, дать выход ее либидо. Удивительно, до чего им нравится давать наставления такого рода. Каждой женщине хочется проявить инициативу. Но в то же время женщины несколько стесняются того, что делают. Они всегда оправдываются тем, что делают это якобы ради меня, "чтобы уберечь от дурных женщин и онанизма", — обычное лицемерие, которым меня не проведешь.

Самая длительная и увлекательная связь была у меня в возрасте шестнадцати-семнадцати лет с девушкой, которая была на несколько месяцев старше меня. Она заканчивала школу, но уже была обручена со студентом, арестованным полицией. Он был эсером и уже несколько месяцев находился под следствием в ожидании суда. Серьезных обвинений против него не было выдвинуто.

В России политические процессы, как правило, — чистая формальность и комедия. Приговор выносится властями загодя, а военный трибунал только ставит печать. О том, что юношу приговорят к восьми-десяти годам ссылки, было известно заранее. Невеста была полна решимости последовать за ним и выйти за него замуж. Она разделяла убеждения террористов и пыталась обратить меня в свою веру. Я часто навещал ее и притворялся, что увлечен ее идеями, хотя на самом деле был к ним холоден. Она привлекала меня эротически. Своих чувств я не открывал: во-первых, я был робок, во-вторых, она была обручена с другим. Но лед был сломан именно ею, причем весьма необычным образом.

В те времена среди русских студентов большим успехом пользовалась одна книга, переведенная с английского. Книга эта смело поднимала проблему секса и советовала девушкам и юношам рано начинать половую жизнь и пользоваться противозачаточными средствами ("неомальтузианство") во избежание беременности. Там же рекомендовались эти средства, к примеру губка. В России книгу запретили, но русский пе-

ревод был издан за границей и распространялся нелегально. Большинство старшеклассников, включая тринадцати-четырнадцатилетних подростков, прочли эту книгу и восприняли ее как инструкцию. Я прочел эту книгу еще до того, как увидел ее на столе Нади...

...Надя спросила меня, читал ли я эту книгу. Я ответил утвердительно, но добавил, что это было давно и что буду рад перечитать ее. Надя дала мне книгу. Когда я возвращал ее, Надя начала разговор о темах, затронутых в книге. Она сказала, что разум и наука — против сексуального воздержания. Надя дала понять, что прежде, до ареста жениха, они с ним сожительствовали, причем пользовались противозачаточными средствами, и что сейчас вынужденное воздержание беспокоит ее: ей снятся эротические сны, сопровождаемые ночными оргазмами. Из-за этого она чувствует себя усталой.

"Слушай, — сказала она, — даже сейчас, говоря об этом с тобой, я чувствую эротическое возбуждение. Ты, должно быть, тоже страдаешь от противоестественной жизни". (Она считала, что я веду целомудренный образ жизни.) Надя спросила, занимаюсь ли я онанизмом, и, когда я ответил, что нет, заметила, что воздержание может нанести мне большой вред и свести с ума. "Вот почему у тебя такой болезненный вид, — сказала она, — словно ты нездоров". В конце концов, она предложила мне близость, дабы не подвергать риску ни мое, ни ее здоровье. "Морально я остаюсь верна, — сказала Надя, — моему жениху, я не бросаю его и последую за ним в Сибирь. Но пока что я должна позаботиться о собственном здоровье, и мой будущий муж лишь заинтересован, чтобы его жена была здорова. Ну, а что касается тебя, то ты воспрянешь духом и телом, не прибегая к услугам проституток".

Виктор оказывается в замкнутом кругу отношений, в которых мужчина и женщина как бы меняются ролями. Пассивность по отношению к обстоятельствам становится главной движущей силой его трагической жизни. Когда Виктору исполняется девятнадцать лет, он переезжает в Италию. Там недостижимость высоко нравственных итальянок вынуждает его вести в течение тринадцати лет целомудренный образ жиз-

ни, который он называет "нормальным". Но в силу той же инерции, благодаря которой он жил целомудренно и интеллектуально осознанно в течение тринадцати лет, он опускается на дно, случайно наткнувшись в Неаполе на сводника-зазывалу.

"...В сквере Сан-Карло ко мне пристал какой-то человек, настойчиво повторявший, что хочет показать мне кое-что действительно интересное. "Я не шарлатан, — говорил он, — я честный человек, я покажу вам такое, чего вы прежде не видели нигде. Тогда вы с полным основанием будете рассказывать, что не впустую провели время в Неаполе. Уж вам-то будет, что рассказать друзьям. Я познакомлю вас с очень приличной семьей, люди с достатком, у них две молоденькие дочки, вы увидите их голенькими и сможете поласкать их, но переспать можно будет только по договоренности с родителями. Одной из них пятнадцать, другой — одиннадцать. Обе — этакие бутончики, а заплатите по-божески, всего сорок франков..."

"Меня оставили наедине с двумя девочками. Им и впрямь было пятнадцать и одиннадцать. Таких милашек можно встретить только в Неаполе: большие черные глаза, правильные черты лица, кожа с оливковым оттенком. Сложены они были идеально, "свежи, как маргаритки"... Обе были девственницами, но с большим эротическим опытом. Они рассказали мне, что главным образом встречаются с англичанами. Кстати говоря, именно англичане способствуют развитию детской проституции в Неаполе, ибо итальянцам столь дорогостоящий разврат не по карману..."

Девочки рассказали мне кучу историй о педарастии и лесбиянстве в городе — лесбийской любовью они занимались и друг с другом, и с подругами. Им доводилось наблюдать специально организованные совокупления. Среди прочих был половой акт женщины с псом, мужчины с уткой, причем во время акта мужчина (это был англичанин) перерезал утке горло, коллективный акт "пирамида". Позировали девочки и для порнографических открыток и т.д. Обе они были чувственны, хотя младшая, как ни странно, была много чувствен-

ней старшей: она испытывала бурные оргазмы и билась, как в предсмертных судорогах...

Ну, а как же моя невеста? Мое поведение вызывало у меня чувство стыда. Мне не хотелось лгать, я писал редко и сдержанно. Это обидело ее. Она отвечала столь же лаконично и редко...

После долгих лет воздержания я превратился — или вновь стал — развратником. И все — по чистому стечению обстоятельств, из-за этого проклятого путешествия в Неаполь и злосчастного изменения моей половой жизни. Привычка заниматься онанизмом завладевала мной все больше. Этому способствовали частые встречи с девочками, которые хорошо знали, как разнообразить это наслаждение... Я боялся, что стал онанистом, и, таким образом, потерял моральное право на брак... В популярных медицинских учебниках я вычитал, что лучшее средство от онанизма — нормальный половой акт. Мне пришло в голову попробовать жить с молодой женщиной, чтобы избавиться от дурной склонности. В Сан-Карло мне подыскали хорошенькую танцовщицу восемнадцати-девятнадцати лет. После пикантных наслаждений, которым я предавался, обычный половой акт казался пресноватым, почти скучным. Но хуже всего было то, что спустя несколько часов после акта воспоминания оказывались намного ярче реальности, и я принимался за мастурбацию, одновременно представляя себе все подробности недавнего прошлого. К моему ужасу, это повторялось по несколько раз кряду...

Судьба преследовала меня. Танцовщица заразила меня гонореей. Неаполитанские врачи лечили меня неправильно, и гонорея стала хронической. Мои мечты о счастье разлетелись в пух и прах... Невеста написала мне, что я свободен, вернула мои письма и попросила отправить назад ее. Все кончилось. Для меня это был страшный удар. Моя жизнь повисла на волоске..."

История Виктора Х. — это история саморазрушения помимо воли, история прекрасного, одаренного ребенка, который по воле судьбы превратился в больного изгнанника, выставляющего себя напоказ в общественных туалетах.

Если у исповеди и есть что-то общее с порнографией, так это то, что она тоже подрывает, компрометирует эротику, секс. А именно в сексе Виктор видит силу, разрушающую его натуру.

С точки зрения социальной и исторической исповедь Виктора Х. заполняет пробел в литературе о России того периода. Едва ли можно найти в Западной Европе аналог той социальной прослойки, выходцем из которой был Виктор. С одной стороны, это прослойка высшего общества, у которой в отличие от западной аристократии почти нет чувства собственного достоинства, врожденного кодекса чести, рыцарства. С другой стороны, многие выходцы из этой прослойки остались не только помещиками, но и стали банкирами, государственными чиновниками, учеными (как в семье Виктора), но снова-таки в отличие от западного среднего класса, западной буржуазии у них нет глубоких экономических или религиозных мотивов блюсти свою мораль. Именно из этой прослойки вышли многие русские интеллигенты. В.Оден как-то заметил, что если остановить на улице англичанина и спросить его, кто такой интеллигент, то ответ прозвучит так: "человек, изменяющий своей жене". Для русских даже слово "интеллигент" куда возвышенней. Слыть интеллигентом, то есть "носителем идей", "учителем жизни", являлось предметом гордости. Это автоматически означало быть критически настроенным по отношению к правительству и порядку, считать, что любая научно необоснованная вера должна подлежать искоренению.

Результат оказался противоречивым и саморазрушительным. Русский интеллигент из дворян, как видно на примере Виктора Х., лишился той социальной структуры, от которой зависели его благосостояние, его свобода мыслей и поступков. Исторически он сбросил себя со счетов так же решительно, как и Виктор.

На месте Виктора Х. англичанин викторианской эпохи, получивший такие же познания в сексе и "реализовавший" эти познания со служанкой, по-пуритански осуждал бы подобное поведение в других как в людях своего сословия, так и в прислуге. Круг, к которому принадлежал Виктор,

был уже настолько деморализован, что ему не хватало энергии и сил следовать принципам "двойной морали". Виктору, как и другим его современникам, безразлично с кем улаживать себя: со школьницами или с крестьянками.

"Мой друг убедил меня, что у нескольких наших одноклассников такие же связи, как и у меня. Он пригласил меня к себе сразу же после уроков. Дома у него я познакомился с тремя школьницами примерно нашего возраста. После поцелуев и объятий две из них легли на спину на кровать и оперлись ягодицами о край, свесив и расставив ноги. Стоя, мы совершили половой акт... С молоденькими служанками и деревенскими девушками я тоже предавался поистине кире-нианским усладам. Я не терял времени на развитие отношений с девушками. Науке обольщать научил меня мой кузен. Он объяснил мне, как сделать податливыми и уступчивыми этих мускулистых амазонок. Для этого следовало подарить им какой-нибудь пустячный подарок; пачку приколок, дешевенькую ленту, конфеты, пирожное, даже голову сахара. В самом деле, столь смехотворных подачек вполне хватало, чтобы эти "мощные девы" Украины позволяли мне рассмотреть и потрогать самые укромные уголки своего тела. Это могло случиться где угодно: в спальне, в сарае, в хлеву, за мельницей, в кустах. При этом девственницы позволяли лишь дотрагиваться, прочие же были более чем согласны на все.

Отношение к сексуальной морали в тогдашней, а возможно, и в современной России во многом связано с самым общим представлением о сексуальном поведении. Наше сексуальное поведение находится в зависимости от сдерживающих факторов, связанных с воспитанием и культурой. Преодоление этих сдерживающих факторов может привести к половой свободе еще до достижения половой зрелости. Россия Виктора представляется неким полинезийским островом. Виктору кажется, что дискуссии и образование поощряют секс, и если бы не эти выдумки взрослых, то он рос бы нормальным ребенком.

Говоря о сексуальной морали в России, следует избегать обобщений. Прежде всего следует мыслить конкретно — в за-

висимости от места, времени и действующих лиц. В то же время не будет преувеличением сказать, что сдерживающие факторы и ограничения, которые влияют на сексуальную мораль, были менее ощутимы в России девятнадцатого века, чем в Англии, Франции, Германии или Италии.

Половая жизнь Виктора в детстве была бы невозможна без определенных знаний, желания, свободы, доступа к противозачаточным средствам, безбоязненного отношения к рождению ребенка вне брака. Ни в какой другой европейской стране, кроме России, Виктор не мог бы появиться. В викторианской Англии опыт, знания можно было получить нелегально — благодаря прислуге. Виктору же был открыт доступ к книгам. Он был волен посещать дома друзей. Русские интеллигенты не ограничивали свободы своих детей, ибо сами были лишены политической свободы в общественной жизни. Зачастую в России реакцией на политические ограничения становится беспорядочная личная жизнь. Виктор и его подруги могли беспрепятственно узнать о противозачаточных средствах. Со времен Древней Греции по середину нынешнего столетия эти средства почти не изменялись. Поразительно, что в Западной Европе, за исключением аристократов и крестьян, об этих средствах попросту забыли.

Многие революционные мыслители России прошлого века считали, что в будущем семья будет упразднена и ее сменят коммуны и коллективы. Перечеркивая семью, они одновременно перечеркивали традиционные понятия верности и целомудрия. При этом они не считали, что сексуальный инстинкт играет сколь-нибудь важную роль. Наоборот, он был для них столь несуществен, что в идеальном обществе не подлежал регламентации или регулированию. Требование сексуальной свободы было одним из лозунгов мощного в тогдашней России движения за эмансипацию женщины. В стране, где и мужчины пользовались лишь усеченными юридическими и политическими правами, признать равенство женщин было сравнительно легко. Равенство и товарищество привели к тому, что сексуальные нормы мужского поведения распространились и на женщин. В Англии в тот же период среди студенток ничего подобного не наблюдалось.

Следует отметить, что Виктор без всякой симпатии относился к своей родине и своим соотечественникам. Взгляд со стороны развивает пронизательность. Разумеется, его пури-танские мысли о сексе, страх перед извращениями (другими, нежели педофилия) не назовешь типично русскими. Даже в допетровские времена русские моралисты не слишком много писали о том, что есть нормальное сексуальное поведение и что — ненормальное. Гомосексуальные страдания Чайковского воспринимаются скорее как аномалия.

Виктор Х. — слепок своего времени. Он открывает нам окно в чулан того дома, о котором мы привыкли судить лишь по фасаду. Впрочем, некоторые его наблюдения не утратили своей актуальности и поныне. В советской России колхозное крестьянство столь же деморализовано, как и русское крестьянство прошлого века. Все та же скученность и панибратство, те же реки водки, захлестывающие сексуальную жизнь.

Но самая большая ценность исповеди Виктора Х., пожалуй, все-таки в том, что она привлекла к себе внимание Владимира Набокова. Правда, тема страдающего педофила интересовала Набокова и раньше. В его самом выдающемся, на мой взгляд, русском романе "Дар" один из персонажей, отчим невесты главного героя, размышляет вслух:

"Вот представьте себе такую историю: старый пес, но еще в соку, с огнем, с жадной счастья, знакомится с вдовицей, а у нее дочка, совсем еще девочка, — знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума сойти. Бледненькая, легонькая, под глазами синева, — и, конечно, на старого хрыча не смотрит. Что делать? И вот, недолго думая, он, видите ли, на вдовице женится. Хорошо-с. Вот, зажили втроем. Тут можно без конца описывать — соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду".

Однако, я думаю, что именно исповедь Виктора Х. дала толчок для создания "Лолиты". Разумеется, это роман о любви и вожделении, тогда как исповедь по тону весьма далека от гумбертовских страстей. И все же близость Виктора и Гумберта Гумберта не ограничивается только тягой к девочкам как к единственному объекту наслаждений. В своей

основе структура исповеди и "Лолиты" почти совпадают: контраст между родиной (Россией или Францией) и чужбиной (Италией или Америкой), где Виктор и Гумберт Гумберт пытаются воссоздать свое прошлое. И тот, и другой — пленники своих первых детских сексуальных опытов. Схожесть героя Набокова и Виктора Х. проявляется даже в деталях. Например, вот как Виктор пишет о своем избавлении от прозябания в России:

"Меня спасла счастливая случайность. Как раз в это время приехал мой дядя, который годами не бывал в Киеве. Дядя сказал отцу, что хочет взять меня в Италию — у него там было свое дело".

В восьмой главе "Лолиты" Гумберт Гумберт с неприязнью отмечает, что его жена Валерия вовсе не маленькая девочка, а большегрудая баба. Его тоже спасает *deus ex machina* (бог из машины):

"Летом 1939 года умер мой американский дядюшка, оставив мне ежегодный доход в несколько тысяч долларов с условием, что перееду в Соединенные Штаты и займусь делами его фирмы".

По натуре Виктор Х. вовсе не трагический герой. У него нет чувства юмора, он не может иронично реагировать на выпад судьбы. Но в главных чертах Виктор и Гумберт Гумберт близки: оба хорошо образованы, оба предрасположены к эксгибиционизму, оба изошренны и высокомерны, оба не могут отождествить себя с какой-либо страной. Виктор развивает в себе способность видеть себя со стороны, запоминать мельчайшие подробности, смаковать их, прокручивать в сознании до тех пор, пока воспоминание не станет ярче, чем само событие. Это — и главная черта Гумберта Гумберта, как и многих других набоковских героев. И все же за бесстрастностью Виктора и Гумберта Гумберта угадывается некоторая доля тщеславия.

Исповедь Виктора Х. адресована доктору Эллису, а исповедь Гумберта Гумберта — присяжным. Оба наслаждаются своим интеллектуальным превосходством. Их переполняет уверенность, что пережитое ими не доступно их читателям и слушателям.

Перевод с английского И.Померанцева



КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА „АРДИС“

- Саша Соколов» „Школа для дураков". 1976.
 Саша Соколов, „Полисандрия". 1983.
 В. Аксенов, „Ожог". 1981.
 В. Аксенов, „Бумажный пейзаж". 1983.
 Ф. Искандер, „Сандро из Чегема". 1979.
 Ф. Искандер, „Кролики и удавы". 1982.
 А. Битов, „Пушкинский дом". 1978.
 И. Бродский, „Часть речи". 1977.
 И. Бродский, „Новые стансы к Августе". 1983.
 А. Цветков, „Состояние сна". 1981.
 В. Набоков, „Приглашение на казнь". 1976.
 В. Набоков, „Бледный огонь". 1983.
 В. Набоков, „Дар". 1975.
 М. Булгаков, „Собрание сочинений в 10-ти томах. 1982-
 Том 1, Ранняя проза, 1982.
 М. Булгаков, „Неизданный Булгаков", 1977.
 И. Бабель, „Забывтые произведения", 1979.
 В. Ходасевич, „Собрание сочинений в 5-ти томах. 1983-
 Том 1, Полное собрание стихотворений. 1983.
 О. Мандельштам, „Проза". 1982.
 А. Белый, „Почему я стал символистом", 1982.
 „М. Цветаева - Фотобиография". 1980.
 „М. Булгаков - Фотобиография". 1984.
 С. Полякова, „Цветаева и Парнок". 1982.
 А. Гладилин, „Большой беговой день". 1983.
 В. Войнович, „Иванькиада". 1976.
 В. Войнович, „Выбор". 1984.
 „Метрополь - литературный альманах". 1979.
 Л. Копелев, „Утоли моя печали". 1982.
 Р. Орлова, „Воспоминания о непростом времени". 1983.
 Ardis, 2901 Heatherway, Ann Arbor, Mich. 48104



НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

НА СВЕТЕ СЧАСТЬЯ НЕТ, НО ЕСТЬ ПОКОЙ И ВОЛЯ

Бывший главный режиссер Московского театра на Таганке Юрий Петрович Любимов уже в течение нескольких месяцев находится в Лондоне, куда он приехал для получения премии газеты Evening Standard — самой престижной английской театральной премии. Премия получена им за постановку спектакля "Преступление и наказание" по роману Ф.Достоевского. Эта постановка признана английской критикой лучшим спектаклем года.

Находясь в Лондоне, Ю.Любимов сделал несколько заявлений, в которых резко критиковал официальную советскую политику в области культуры, в частности театра. Эти заявления вызвали гнев и даже угрозы со стороны представителей советского посольства в Лондоне. Об этом много и подробно писала западная пресса.

17 февраля 1984 г. Ю.Любимов дал интервью корреспонденту журнала "Страна и Мир" М.Филлимор, которое перепечатывается ниже с любезного разрешения журнала.

Ю.Любимов высказал пожелание, чтобы публикация его интервью была предварена двумя эпитафиями: один из А.Пушкина, другой — из книги Ф. Шаляпина "Маска и душа". Цитата из Ф.Шаляпина дана по парижскому изданию 1932 года (в советском издании соответствующие страницы отсутствуют).

Редакция журнала "Время и мы" эпитаф из пушкинского стихотворения вынесла в заголовок всего интервью.

И не то, что я боюсь кого-нибудь из правителей или вождей в отдельности, я боюсь, так сказать, всего уклада отношений, боюсь "аппарата"... В один прекрасный день какое-нибудь собрание, какая-нибудь коллегия могут уничтожить все, что мне обещано.

Ф.Шаляпин

Ф и л л и м о р . Это верно, что вы — первый иностранец, получивший премию Evening Standard?

Л ю б и м о в . Да, это правильно. Я эту премию получил за режиссуру спектакля "Преступление и наказание". Премии за лучшее актерское исполнение присуждались отдельно. Я просмотрел список других лауреатов премии. Там С.Беккет, который в 1954 г. получил премию за самую спорную пьесу "В ожидании Годо". Там Джон Гилгуд и, кажется, Лоуренс Оливье, Питер Брук и Джонатан Миллире, который так оригинально сделал "Риголетто". В общем, хорошая компания.

Ф и л л и м о р . Рецензии на ваш спектакль здесь, в Лондоне, были изумительные.

Л ю б и м о в . Мне помогло то, что я приехал и отобрал артистов сам. В течение недели, по 8, по 10 часов в день ко мне приходили актеры и совершенно спокойно, как ученики, сдавали экзамен. Сперва мне было неловко, ведь передо мной были даже люди с именами, а потом я выяснил простую вещь: день оплачен, оплачен неплохо, им интересно со мной поговорить, а мне интересно увидеть английских актеров, их школу, их уровень. Я понял, что профессиональный уровень очень высокий, и школа, в большинстве случаев, хорошая. Как везде, есть и менее одаренные, и более одаренные люди, но профессиональный уровень высокий. Пожалуй, самый высокий в Европе.

Вручение премии было очень торжественным. Вся церемония транслировалась по телевидению. Присутствовали писате-

ли, художники, все организовано было прекрасно, но и с английским юмором. Я смотрю: все чего-то ожидают. Оказалось, что ждут, когда поднимут бокалы и произнесут тост за Королеву, тогда можно и закурить. И, действительно, сразу после этого все закурили.

Ф и л л и м о р . В каком-то смысле эта премия присуждена не только вам как режиссеру "Преступления и наказания" в лондонском театре, но и Театру на Таганке. Ставили ли вы спектакль, думая о том, как он ставился на Таганке?

Л ю б и м о в . Безусловно, думал, хотя первый раз я делал "Преступление" в Венгрии, а не на Таганке. На Таганке уже делал потом, совсем другой спектакль с русскими актерами, и даже текст менял. Адаптация текста лондонского спектакля — корякинская и моя. Перевод Л.Ржевского — он американец, притом двуязычный: он из русской семьи и абсолютно одинаково владеет русским и английским. Мы шутили, что нужно сказать политикам: вот вам пример настоящего сотрудничества, плодотворного, долгого и взаимно вежливого. В результате и работу нашу высоко оценили.

Ф и л л и м о р . А как отнеслись к вам здесь советские представители?

Л ю б и м о в . Ну то, что происходило после моего интервью в Times от 5 сентября 1983 г., уже много раз обсуждалось. Филатов, сотрудник советского посольства, сказал мне после этого интервью, что "преступление налицо, а наказание будет". Я взвился, попросил переводчика сразу перевести эти слова англичанам и ушел. А он бросил мне вслед: "Мы вас все равно найдем". Потом начались звонки, в общем, обычные наши методы. Он мне начал говорить, что не произносил таких слов, что это на него наклеветали. После этого я сказал: "Я не хочу с вами говорить, вы мне врите", — и повесил трубку. Он тут же позвонил снова — по русской поговорке: плюй в глаза — все Божья роса.

Ф и л л и м о р . Советское посольство требовало, чтобы вы отказались от сказанного в интервью в Times?

Л ю б и м о в . Нет. Они хотели, чтобы я прежде всего пришел к ним для душевного разговора и т.д. Перед премьерой

ситуация была очень тяжелой. Был сбит корейский самолет. По телевизору — плач детей, матерей, весь этот ужас. Казалось бы, такие ужасы мы с вами переживаем давно: всякие вторжения, расправы, несправедливости. Но этот случай особый, потому что ведь все летают и как-то особенно ужасно: встречаются люди самолет, а никого нету, все сбиты и мертвы. Дети, матери, родственники — все рыдают. И как раз в этот момент г-н Филатов не удержался от каламбура насчет преступления и наказания. К сожалению, Федор Михайлович в "Бесах" оказался пророком, а не Лев Николаевич, который сказал, что эта книга — фельетон, искусства в ней мало, быстро забудется эта книга. А время идет, и книга становится все страшнее, глубже, как будто она сейчас написана.

Ф и л л и м о р . Вы когда-нибудь думали ставить "Бесов"?

Л ю б и м о в . Давно. Только мне не давали. Мы даже начали репетировать. Уже со Шнитке мы делали музыку, но я не получил разрешения, так же как и на "Мастера и Маргариту". Я хотел сделать "Мастера и Маргариту" к десятилетию Театра на Таганке. Все-таки мне удалось этот спектакль поставить, хоть меня и обругала потом "Правда" в статье "Сеанс черной магии на Таганке". Но все-таки спектакль идет до сих пор.

Ф и л л и м о р . С этой статьи, кажется, в 1977 году, и началось замалчивание театра?

Л ю б и м о в . Нет, раньше. Вы знаете, оно периодически возникало. Один раз им очень не понравилось то, что я говорил в L'Humanite, когда театр был на гастролях в Париже. Еще был жив Высоцкий, он играл Гамлета. Мы привезли самый уж проверенный репертуар. "Мастера" не разрешило Министерство культуры, и сразу, еще на пресс-конференции начался скандал. Я сказал насчет "Мастера": "К сожалению, не я утверждаю репертуар". Переводчик от Министерства культуры меня перевел: "Господин Любимов считает, что этот спектакль слабый, и поэтому он сам отказался его привезти". Какая-то дама с французской стороны вмешалась и возразила: "Вы говорите неправду, он совсем не это сказал". Поднялся шум, и я предложил переводчику уйти. Он сразу побежал жаловаться в посольство, и начался скандал.

В товарищеской беседе в ЦК французской компартии я очень откровенно обо всем говорил: о структуре театра, о зарплате... Я объяснил, что у нас единый котел, что все поровну получают. Так оно и есть на самом деле, и ничего плохого в этом нет. Тот же Высоцкий получал 200 рублей, а рабочий сцены на сдельной оплате получал у нас иногда на гастролях до 300 рублей, когда перерабатывал. Так что действительно разрыв в зарплате у нас в театре небольшой: от ста двадцати рублей до, примерно, трехсот. У актеров потолок — 220 рублей. Об этой беседе написала L'Humanite. "Литературная газета" во главе с А. Чаковским позднее все переврала и нас оболгала. Она выискала одну рецензию, где нас обругали, будто бы и не заметив огромного числа прекрасных рецензий, которые появлялись в течение всех гастролей. А ведь с таким репертуаром, какой был у нас, — и иметь такую в общем-то хорошую прессу... Мы возили по Франции "Мать", "Десять дней", "Тартюфа", "Гамлета", "Маяковского". Гастроли прошли хорошо, судя по прессе, но в "Литгазете" об этом не было ни звука. А номер L'Humanite, где была опубликована беседа со мной, в Москве вообще изъяли из продажи. После этого у меня были крупные неприятности, меня никуда не пускали, о театре молчали. Но все главные беды начались довольно мистически после смерти Владимира Высоцкого.

Ф и л л и м о р . Каким образом?

Л ю б и м о в . С похорон. Его даже похоронили на Ваганьковском кладбище. Отец с матерью хотели, чтоб на Новодевичьем, а им отвечали: что вы, у нас вчера посол умер, мы и то его хороним не на Новодевичьем, а только в филиале. А тут умер какой-то артист... Значения Высоцкого никто из них не понимал...

Ф и л л и м о р . Очевидно, понимали и боялись, если вы говорите, что все беды начались с похорон Высоцкого...

Л ю б и м о в . Ну, это совпадение. Нет, они не понимали... Замятин, редактор "Правды", кричал на меня по телефону: "Все вы антисоветчики, а этот спившийся подонок, ну имел какой-то талантишко, да и то пропил! Подумаешь, несколько песенок сочинил"...

Ф и л л и м о р . Это было, когда вам запретили ставить спектакль памяти Высоцкого?

Л ю б и м о в . Да, этот спектакль.

Ф и л л и м о р . С чего начались последние запрещения, одного спектакля за другим?

Л ю б и м о в . Все со смерти Высоцкого. Мы его похоронили, к счастью, Господь помог, по-своему. Никто из них не выступал, эта казенная молотилка не работала, а говорили его друзья. Может быть, давно в Москве не было, чтобы так по-человечески хоронили поэта, и я зауважал москвичей. Тогда была Олимпиада, но приличные люди не об Олимпиаде думали, а о смерти такого замечательного поэта. Это удивительное явление, которое еще требует анализа. Почему он спел обо всем и написал обо всем, а официальные поэты почему-то остерегались затрагивать эти открытые им земли? Они же рядом тут, но никто почему-то об этом не писал, не сочинял. Мэтры его похлопывали свысока по плечу. Я думаю, что Высоцкий имеет для России большее значение, чем они. Поэтому так уж и получилось, что судьба положила его рядом с Есениным. Ведь это удивительное явление, Владимир. Он создал тысячи стихов, я сейчас не говорю о том, какие лучше, какие хуже, дело не в этом. Даже сама его смерть вызвала акт творчества. Посмотрите на его могилу. Это же уникально, как его хоронили! Вся Москва, тысячи людей пришли... И я благодарен судьбе, что театр сумел похоронить его достойно, и нам в общем-то не препятствовали, когда поняли, что все равно мы сделаем так, как мы хотим.

Ф и л л и м о р . Но вам стали препятствовать, когда вы попытались поставить спектакль его памяти?

Л ю б и м о в . Да, потом начались неприятности. Видимо, нам это не забыли. Люди, которые его не любили, Владимира не любили, и театр заодно вместе с ним и со мной, злобно стали наступать на нас. Они восприняли в штыки мысль, что нужно сделать вечер его памяти в годовщину смерти. А за неделю до вечера меня вызвал начальник Управления по делам театрального искусства Амуров. Теперь он директор МХАТа, наверное, этот свой чин он тогда и заслужил. И он

мне заявил, что никакого вечера не будет. "Видите ли, я ухожу в отпуск, сегодня уже пятница, 5 часов вечера, а с понедельника я в отпуске, так что вопрос решен. Делайте у себя на квартире, если хотите". — "Но ведь это вечер памяти, мы имеем право его сделать". — "Нет, дома у себя делайте". Я говорю: "Ну хорошо, я сделаю дома, благо у меня одна комната большая, но вам же будет хуже, начальник Управления". Но это был приказ, конечно, не Амурова, он мелкая сошка, а Демичева, который не хотел, чтобы вечер был. Он и при жизни Владимира всегда его обманывал. Демичев обещал Высоцкому пластинки, но никаких пластинок не было. Только благодаря бешеной, нечеловеческой энергии Владимира, вопреки всему, он записал прекрасные пластинки во Франции, в Америке и в Канаде. И любовь к нему такая, что у миллионов людей сейчас есть эти записи дома. Как же дико было запрещать спектакль, в котором девяносто процентов уже было процензуровано, разрешено! Мы взяли стихи и песни из его последнего сборника "Нерв", из пластинок...

Ф и л л и м о р . Они , очевидно, боялись паломничества, повторения того, что было на похоронах...

Л ю б и м о в . Возможно... Одним словом, они запретили мне этот спектакль и дали мне выговор. Я стал метаться, разговаривать с ними по вертушке. К счастью, еще есть, кто мне доверяет и не боится, говорит: "Звони". Я и звонил и разговаривал, как в народе говорят, со всеми портретами. Покойный Андропов удивился, почему я именно к нему обращаюсь. Я сказал, что потому, что это проблема политическая и международная, и все равно вам придется ею заниматься. Я убедил его, что это наносит вред престижу нашего отечества и что не надо сердить миллионы поклонников Высоцкого внутри страны, Хотите вы этого или нет, но миллионы людей обожают его и чтут.

Ф и л л и м о р . Андропов был уже тогда генсеком?

Л ю б и м о в . Нет, он был председателем КГБ. И он взял на себя смелость разрешить вечер. Это был, я считаю, мужественный поступок с его стороны, потому что Суслов, наверное, не одобрял этого решения. Демичев был в отпуску. Они

быстренько собрались и сделали вид, будто сами считают, что вечер нужно провести. Как будто не я этого добился. И вот такой театр у них идет непрерывно, все время. Собрались рано утром взрослые люди и начали валять дурака, как будто они никаких указаний не получали, а руководствуются только внутренним порывом. "Да, Юрий Петрович, пожалуй, вы правы. Вечер надо провести!" Возражал один только Иванов — известный балбес, бывший артист театра им. Вахтангова, который играл японца и все время говорил: "Мы подождем, мы подождем". Теперь он дождался высоких чинов, сейчас он замминистра. Тогда же он просто не знал, что есть уже другая установка. Потом он даже пострадал немного из-за этого, куда-то его понизили. Но сейчас он снова в порядке, Демичев его пригрозил.

Итак, вечер состоялся. Организовали мы все великолепно. Не было никакой Ходынки, наоборот, все было чрезвычайно дисциплинированно, сдержанно и скорбно. Люди зонтиками закрывали цветы, чтоб они не вяли, не себя закрывали, а цветы! Тысячи людей! Это была удивительная картина. А вокруг театра было между тем установлено двойное оцепление, пускали по пригласительным билетам и чуть ли не с предъявлением паспорта. Грустно было на все это смотреть, но все же вечер состоялся. Были близкие, много было наших театральных друзей. Кто только ни пришел: и Булат Окуджава, и Белла Ахмадулина, композиторы — Шнитке, Эдисон Денисов, ну, в общем, те, кто много лет работал с Володей, с нашим театром.

Это была попытка понять поэта, опровергнуть устоявшееся мнение, что это только певец, что если вы читаете его стихи глазами, то это не поэзия. Я, когда работал над спектаклем, читал сотни его стихов, на которые нет музыки. Это великолепные стихи. Поразительно, как он быстро перед смертью вырос, становился чрезвычайно интересным и по форме, и по словарному отбору, и по глубине мысли. Он понимал тогда совершенно ясно, что дома, на родине, он жить уже не в состоянии, но чувствовал, что и без России, за рубежом, он тоже жить не сможет. И он просто загнал себя, как лошадь,

как он спел в своей песне про коней; "И дожить не успел, и допеть не успел".

Он был к себе беспощаден. Это такая редкость, чтобы человек так презирал себя иногда за какую-то ерунду. Иногда он казнил себя за трусость, что для него, казалось бы, совсем странно. Он для меня образец смелости и такого неумного, бешеного темперамента, который сжег себя, как шаровая молния, о которой никогда неизвестно, куда она улетит, где разорвется... Когда мы хотели поставить ему памятник на могиле, мы думали о метеорите. Нам говорили, что это нельзя, но даже академики старые считали, что надо дать кусок метеорита. Ведь действительно, метеорит — это его образ. Теперь, к сожалению, я не знаю, какова судьба этого памятника.

Ф и л л и м о р . Ходили разговоры о том, что в прошлом Андропов покровительствовал театру и вам лично. Правда ли это?

Л ю б и м о в . Нет, просто когда мне закрыли первый спектакль "Павшие и живые", то друзья устроили мне встречу с ним. Он был секретарем ЦК. Я с ним имел долгую беседу. Он начал ее с того, что сказал: "Благодарю вас как отец". Я не понял, говорю: "За что, собственно?" — "А вы не приняли моих детей в театр". Оказывается, они очень хотели в артисты и пришли ко мне. Мама с папой были в ужасе. Ребята были совсем молодые, действительно дети, и я сказал им, что все хотят в театр, но сперва надо кончить институт, а сейчас не надо... Они вернулись в слезах — жестокий дядя отказал, нам долго читал мораль... И за это он меня зауважал. Он сказал: "Мы с матерью не сумели их отговорить, а вы так сурово сказали, что они послушались".

Ф и л л и м о р . Но последние годы Андропов вам не помогал?

Л ю б и м о в . Он уже не вмешивался в дела театра. Когда я с ним разговаривал, он произвел на меня впечатление человека умного. Он сразу мне сказал: "Давайте решим небольшую проблему, всех проблем все равно не решишь". Я говорю: "Конечно, конечно, самую маленькую. Вот если бы вы

помогли, чтоб пошел спектакль "Павшие и живые"! Это же о погибших на войне, в их память. А тут подняли такое..."

А за всей этой историей с "Павшими и живыми" просто крылось, что мы выбрали не тот состав поэтов. Так они и в этом некомпетентны: они Кульчицкого приняли за еврея и просили заменить Светловым, а на самом деле Светлов — еврей. Среди выбранных нами поэтов были Коган, Багрицкий, Кульчицкий, Пастернак, который, тоже, видимо, вызывал большой гнев... В свое время к нам однажды пришел Микоян, который был тогда президентом. Он смотрел "Десять дней". Лицо у него было каменное, отвлеченное... Он спросил: "Как живется, какие у вас сложности?" Я ему и говорю: "Вот, закрыли "Павшие и живые". — "А почему?" — "Да состав не тот". И рассказал ему этот случай с Кульчицким. Микоян мне сказал: "А вы спросите их, разве решения XX и XXII съездов отменены?" — "Я, конечно, могу спросить, но не лучше ли вам, как президенту, спросить их об этих решениях?"

Вот тут он первый раз посмотрел на меня оценивающим, внимательным взглядом. До того — это была маска. И я понял, что с ними нужно разговаривать откровенно и прямо, но для этого, конечно, нужно набраться храбрости. Но я был в отчаянном положении. Театр только начал свое существование, закрыли спектакль, билеты на который уже были проданы на месяц вперед... Теперь эту практику уже прекратили, теперь нам заранее подписывают афиши, и мы сами ничего не можем объявить. Даже премьеру не можем объявить, нарушена старейшая театральная традиция! Мы заранее подписываем на месяц репертуар, и, значит, я не могу запланировать даже премьеру, пока они не посмотрят и не утвердят ее.

Сейчас на всех московских афишах стоит: "Спектакль будет объявлен особо". Это значит, что они придут и будут решать, пускать спектакль или не пускать. И если раньше их приходило человек пять-шесть, теперь их приходит сто пятьдесят-двести. Это как саранча.

Ф и л л и м о р . В какой момент они приходят на репетицию? Как все это происходит?

Лю б и м о в . На приемку спектакля, на какой-нибудь просмотр, когда мы сдаем спектакль. Официально это называется "сдача Управлению".

Ф и л л и м о р . Как закрыли спектакль о жизни Федора Кузькина?

Лю б и м о в . Это долгая история. Его закрывали три раза. Первый раз закрывала Фурцева. На закрытом прогоне спектакля было несколько заместителей министра, мы с автором, потом пробрался Вознесенский, но уже художника и даже завлита театра не пустили. Театр оцепили, все двери закрыли, в общем проявили себя вполне... Фурцева на этом прогоне просто взбесилась, она кричала: "Ведь это же иностранцу и ездить никуда не надо! Только посмотреть такой спектакль, и ему все ясно становится! Это что же такое вы придумали?!" Все обсуждение — это была комедийная, фантастическая сцена, которую трудно описать. Выступали молодые люди, подсюсюкивали: "Что же это такое! Позвольте высказаться! Не могу молчать, Екатерина Алексеевна!" А она им: "Говори, говори, дорогой, смело выскажи им все прямо в лицо!"

Автор, выслушав все эти тирады, встал. Видимо, после выступления одного из молодых подхалимов у него не выдержали нервы. Он человек солидный, говорить умеет, обращается к Фурцевой: "Екатерина Алексеевна, вы что же, не видите, кого вы воспитали?!" Один из молодых что-то пытался сказать, а автор ему говорит: "А вы, молодой человек, сядьте. Как вам не стыдно? Такой молодой и уже такой жалкий карьерист! Но неужели вам, министру России, не страшно, кого вы растите?"

И он произнес прекрасную речь, преподал им такой урок... Они, наверное, минут десять слушали все это, у них просто был шок. Потом Фурцева закричала, стукнула ручкой: "Подумаешь, тоже мне шестидесятник нашелся!" Весь театр слушал обсуждение по радио. Вдруг в зал заглянул маленький артист — комик Джабраилов. Он в пьесе ангелом летал и сыпал с небес манну небесную бедному Кузькину, чтоб ему легче жилось. И она закричала: "А вот вы, вы, ну-ка выходите. И вам не стыдно летать таким рваным?!" А он, маленький

такой, говорит ей: "И не стыдно. И очень даже не стыдно". Это был цирк! Помните, как висел над Москвой лозунг: "60 лет Советского цирка"? Потом, правда, кто-то сообразил, и лозунг сняли. У них же комплекс неполноценности. Они все принимают на свой счет.

Все это происходило как раз в то время, когда они решили вторгнуться в Чехословакию и когда у Александра Трифоновича Твардовского были большие неприятности — заменили часть его редакции "Нового мира". А у Федора Кузькина все несчастья были, как известно, на Фролов день, то есть 18 августа, и вот спектакль у нас был так сделан, что Кузькин, которого играл Золотухин, одевался в свой костюм и листал "Новый мир". Потом он этот журнал ставил на березу и березу втыкал в пол. Там было много берез, а на березах весь мир — избушки, антенны, луковки церковные... И начиналось с того, что многие ставили на березы "Новый мир". Фурцева закричала: "Что это такое, вы "Новый мир" на березы повесили?! Ишь, знамя какое вывесили! Думаете, далеко с ним уйдете?!" А я как-то не сообразил и брякнул: "А вы думаете, вы со своим "Октябрем" далеко уйдете?!" Я-то имел в виду журнал, а она взбесилась, видно решила, что я про тот Октябрь говорю. Она вскричала: "Ах так!", надела свое каракулевое манто и убежала, как она сказала, писать письмо Генеральному секретарю о моей зловредной деятельности.

Впрочем, они заранее все уже решили. Накануне Фурцева в каком-то частном доме говорила: "Завтра поеду к этому Любимову закрывать спектакль. Я ему покажу, как ставить!" Так что, понимаете, это все была игра. Только они играют в одни ворота, да еще вратаря убирают.

Точно так же все было предрешиено с этой пьесой и в Другой раз, уже при министре культуры Демичеве. Обсуждение происходило сразу после спектакля, прямо в помещении театра. Сама пьеса про Кузькина кончилась, но другая продолжалась еще три часа, только уже с другими, специально привезенными героями. Вместо того чтобы заниматься сельским хозяйством, они стали руководить искусством.

Помните, была такая "легендарная" бригадир полеводческой бригады Заграда. Она учила покойного Яншина ставить спектакли. Он ей ответил: "Благодарю вас, но я очень люблю салат. Почему он такой дорогой на рынке? Вы бы лучше этим занялись, а спектакль я уж соображу, как поставить". Очень обиделся на это Хрущев и даже хотел наказать Яншина.

Вот и тут, выступали какие-то заместители министра, знатные колхозники, герои соцтруда, заместитель редактора газеты по фамилии Царев. Они с гневом говорили всякую чушь, а Царев договорился до замечательной фразы: "Даже если все и было так, как они представили, то мы будем считать, что этого не было!" Вот какие перлы! Такая была битва, которой давно не видели в Москве, прямо стенка на стенку.

Солоухин очень хорошо сказал: "Это мне напоминает, как если бы на обсуждение "Ревизора" привезли всех городничих. Они тут же бы закрыли все это дело". Но ничего. Министр, он такой вдумчивый, сперва сделал вид, что пропускает спектакль, а потом уехал из театра в Министерство и тут же дал распоряжение прикрыть. Для видимости нам с автором месяца два морочили голову, потребовали сделать 90 поправок. Мы все выполнили, а они все равно спектакль закрыли. Все было заранее решено.

К счастью, это обсуждение кто-то записал и передал в Le Monde, где все это было опубликовано. Хорошо, что там указали, от кого они получили запись, а то бы это мне пришлось и такое дали!

Ф и л л и м о р . А что случилось с постановкой "Бориса Годунова"? Почему его закрыли?

Л ю б и м о в . Думаю, что я неудачно выбрал время, как раз когда один вождь умер, а другой вступил на его место. Но ведь я начал работать над пьесой давно и ничего такого не имел в виду! Однако они все время искали, как они выражаются, аллюзий, намеков, подтекстов. Это особенно обидно в отношении "Годунова", потому что у этой пьесы трагическая судьба. Опера "Борис Годунов" идет по всему миру, а пьеса, как правило, пройдет пять раз, и от скуки ее

снимают. А у нас, как говорили знатоки, спектакль получился, многие видели его на репетиции. Кстати, за то, что я позволял себе открытые репетиции, я получал выговоры — ведь это тоже сейчас запрещено, хотя даже при Сталине было можно. Это скопище бездельников, которые "занимаются" Искусством, все время выискивает какие-то новые инструкции, пункты, дополнения к ним... Шолохов когда-то написал, когда был трезвым и в своем уме: "Вы скоро будете командовать, как мне с женой спать!" Бездельники эти, как клопы, размножаются, им просто нечего делать.

Ф и л л и м о р . Значит, "Борис Годунов" появился не вовремя, или, наоборот, слишком вовремя?

Л ю б и м о в . Слишком вовремя. Они начали гадать, кто у меня — Борис, кто — Самозванец, и додумались до того, что Самозванец — это Андропов. Совсем сдурели. Я им говорю: "Как у вас голова работает? Самозванец ведь привел с собою войска!"

Ф и л л и м о р . Где происходили эти обсуждения? Куда вас вызывали?

Л ю б и м о в . Меня вызывали в разные инстанции. Последнее обсуждение было у заведующего отделом ЦК. Я написал Андропову письмо, и дальше все было таинственно. Сперва он хотел меня принять, это было твердо установлено. Дважды мне подтвердили, что он меня примет. Потом, видимо, он заболел, он все время болел, и очень серьезно. Помощник сказал мне, что товарищи разберутся, и товарищи крепко разбирались со мной часов пять, в результате чего сказали, что все работы нам закрывают. После спросили: "Какой же вы видите выход из создавшегося положения?" Я говорю: "Выход вижу один — отставку". Наступила тишина. Я спрашиваю: "Почему вы так взволновались — не ваша ведь отставка, а моя?" — "Нет, вы обязаны работать, — закричали они хором, — должны!"

Ф и л л и м о р . Обсуждалось ваше членство в партии?

Л ю б и м о в . Нет. Просто меня один раз выгоняли из партии — за спектакль о жизни Кузькина. Тогда на меня в райкоме кричали: "Мы не хотим дышать с вами одним воз-

духом". Я отвечаю: "Выйдите тогда, если вам не дышится, а я не собираюсь". — "Чей он хлеб ест?!" — кричала дама килограмм на 120, заведующая кондитерской фабрикой. А она в театре ничего не видела.

Что же требовать от дамы, если даже Жюрайтис пишет мерзкие доносы в "Правду", и "Правда" печатает: "Руки прочь от нашей святыни, "Пиковой дамы"! При этом "Правда" назвала "Пиковую даму" поэмой! А ведь "Правда" имеет целый справочный отдел, который обязан не допускать таких ляпсусов! Ни стыда, ни совести! Этого Жюрайтиса просто попросили выкрасть партитуру, а потом о Шнитке, о человеке с мировым именем, говорили: "Посмотрите, что натворил этот композиторишко!" Ну разве можно так обращаться с мастером! Был уже заготовлен "гнев трудящихся", сотни писем: "Руки прочь от "Пиковой дамы"! Но, видимо, тут они поняли, что переборщили. Это уж так пахло ждановщиной, что они кампанию прикрыли. Потом даже негласно извинились. Оскорбили на всю страну, а извинились тихо в подворотне!

Ф и л л и м о р . С "Годуновым" после того, как была закрыта постановка, все было покончено?

Л ю б и м о в . Да, они закрыли, сказали "все". После этого я поехал в Милан и поставил там "Пулу" А.Берга, получив премию за лучший оперный спектакль года. Конечно, ни строчки у нас об этом не написали, как вообще никогда не писали о нашем театре ничего хорошего. А ведь как бы вы ни относились к нашему театру, никуда не денешься: он имеет мировое имя. Они же сами недавно посылали его в Финляндию и говорили, частным образом, как это замечательно, какие были потрясающие гастролы. Логика в их поведении по отношению к нашему театру и ко мне нет никакой. Просто 20 лет он подвергается совершенно наглой и неприкрытой дискриминации. Мне кажется, в этом есть большая доля личной мести. Личная месть, да еще, как по Гоголю, страшная. Действительно, она страшная, потому что я сижу в чужом городе, вместо того, чтобы работать в своем театре. А ведь за эти 20 лет в театр ходили миллионы людей!

И Высоцкого по-прежнему не признают или начинают делать из него что-то совершенно на него непохожее, как он пел в своей знаменитой песне "Монумент": "Неужели такой я вам нужен после смерти?" Как в воду глядел!

Ф и л л и м о р . Но чья месть и почему?

Л ю б и м о в . Демичева. Я давно столкнулся с этим министром, когда он был еще секретарем ЦК. И, как скорбно сказал когда-то Бабель, "мы встретились со Сталиным и, к моему несчастью, друг другу не понравились". Так и мы с Демичевым. Товарищ Демичев невлюбил меня. Он мне при первой встрече говорил, что я в плохом окружении, что у меня плохие друзья. Демичев мне проповедовал теорию фильтров: они-де будут бесконечно ставить фильтры, чтоб очистить идущий в искусстве и литературе мутный поток. Я возражал ему: "Так вы получите дистиллированную воду, а ее можно только в аккумулятор залить. Это, конечно, неплохо, часто и ее не достанешь в аптеках, но искусству это вряд ли поможет". Демичев беседовал со мной пять часов, не выходя, и я удивлялся крепости мочевого пузыря министра, сам крепился изо всех сил... А потом к числу моих недоброжелателей присоединился еще Зимянин, так что в данной ситуации мне ждать от них нечего.

Ф и л л и м о р . Обращались ли вы когда-нибудь к Черненко?

Л ю б и м о в . С Черненко я имел переписку. Потом, наверно, издадут мою переписку с вождями. Я ведь и Брежневу несколько писем писал и всегда получал ответы. Мне запретили спектакль, и я написал письмо, где говорилось примерно так: "Все мои обращения к людям, которым Вы поручили руководить искусством, произвели на меня гнетущее впечатление. От встреч с ними на меня веяло китайщиной". Это было еще во времена Мао Цзэдуна. Заканчивал я письмо так: "Если Вы сочтете возможным, разрешите мне продолжать работу в созданном мной театре". Мы советовались друг с другом, были споры, что так нельзя, надо помягче, но все-таки я послал этот вариант Брежневу. Мир не без добрых людей, письмо к нему попало. Екатерина Алексеевна Фурцева

очень допытывалась при каждой встрече: "А как вы передали письмо?" Я объясняю: "Очень просто, как все трудящиеся. Подошел к окошку в приемной. Открыли утречком, в девять часов. Дама открыла конвертик, посмотрела, нет ли там чего, и потом, пробежав письмо, говорит: "Господи, это что же они надумали, вас выгонять?" Очень она меня этим ободрила. Дала свои служебные телефоны и сказала: "Я обязательно сделаю, чтобы письмо сразу пошло дальше".

Конечно, не дама передала письмо, не надо быть наивным. Письмо попало, и мне позвонили. В первый раз я услышал поразительную фразу. Мне сказали, чтобы я работал спокойно, не нервничал, что письмо прочтено. Потом помощник говорит: "Дальше "под запись". Я ничего не понял, под какую запись. Оказывается, дальше мне были переданы буквально слова Брежнева. Я тогда это первый раз услышал и был обескуражен.

На следующее утро была коллегия в Министерстве культуры, и в перерыве все меня сторонились, зная, что я человек обреченный, что хотя я еще тут хожу, но меня уже нет. И вот, когда все курили, я сказал: "Вы знаете, я буду работать". — "Как так — будете работать?" И тут я им передал этот разговор "под запись". Я еще во время этого телефонного разговора спросил, могу ли я воспользоваться словами Брежнева, и мне ответили: "Для этого мы с вами и говорим". — "Ну хорошо, — говорю, — а то мне не поверят". — "Не беспокойтесь, поверят". И действительно, сперва они мне не поверили, но прекратили говорильню и разбежались. Но потом меня быстро оставили в покое. Смущенный райком, который меня выгонял и из партии, и с работы, сидел в полном составе, вперив взоры в бумажки, рисуя чертиков, а председательствующий говорил: "Вы знаете, мы тут обмозговали и решили, что вы можете продолжать работать в театре". И через каждые пять минут они меня спрашивали: "Мы правильно ведем заседание?" Я говорю: "Правильно, вы всегда все делаете правильно".

Ф и л л и м о р . Но ваше последнее письмо последнему вождю, написанное уже из Лондона, осталось без ответа?

Л ю б и м о в . Нет, опять мир оказался не без добрых людей. Косвенный ответ был: пусть приезжает и спокойно работает. Между тем ходили упорные слухи о том, что уже четырьмя людям предлагали мое место — место главного режиссера Театра на Таганке. Называли имена А.Эфроса, Н.Губенко, Захарова, Дунаева и говорили, что все они отказались. Артисты нашего театра добились приема у министра культуры и спросили его, неужели он не может послать кого-нибудь, чтобы поговорить с Юрием Петровичем. Министр им ответил: "Мы работаем с вами, а его тут нет. Из Лондона он, что ли, будет руководить театром?" Но все же заверял актеров, что никто меня не собирается снимать.

Ф и л л и м о р . Почему они играли и играют с вами в эти игры? Почему они просто не разогнали театр?

Л ю б и м о в . Ну, видимо, трудно так сразу закрыть театр, который имеет такую славу. Хотя, впрочем, ничего им не трудно. Но все-таки надо хоть видимость какую-то создавать, как на этих проклятых сталинских процессах. Надо же голову морочить нашим несчастным людям, которые совершенно не имеют никакой информации. Даже многие, ныне уже бывшие члены Политбюро, когда они приходили ко мне, начинали разговор со слов: "Вот вы, оказывается, какой!" Я спрашиваю: "Это в каком смысле, вам что, изображали меня бандитом, шпаной какой-то?" — "Ну, мы видим, что вы разумный, спокойный человек, а нам говорили..." Все они высказывались примерно в этом духе. Но, правда, теперь они не могут быть моими защитниками, они все уже не в Политбюро.

Я, когда ставил спектакль о Володе Высоцком, понял одну важную вещь, когда он ездил и в Париж, и по всему миру, У него начался внутренний разрыв. Он понимал, что он нужен там, дома, а дома его травили. Он об этом спел в "Охоте на волков".

Ф и л л и м о р . Это ваша ситуация?

Л ю б и м о в . Да. Все это очень прискорбно. Конечно, я должен сидеть у себя в Театре на Таганке и работать, но в такой обстановке, которую они создали, работать нельзя. Они говорят: "Терпел же 20 лет, и ничего! А теперь, видите ли,

ему в голову что-то взбрело, корчит из себя кого-то. Как работал, так пусть и работает!" Нет, так работать, в таких условиях я больше не буду! И они это должны понять. Все лучшее, что осталось в России, встревожено тем, почему же все так происходит, что они творят, когда же они задумаются? Ну хоть бы они историю вспомнили, вспомнили, сколько они уничтожили интеллигенции! Сталин уничтожил всех мужиков, которые кормили Россию и еще Европу! Почему они все время в прятки играют, неужели они думают, что вокруг них одни слепые котятка? Как все это тяжело и глупо!

Ф и л л и м о р . Каково ваше положение сегодня?

Л ю б и м о в . Официально я здесь на лечении, мне это разрешено. Пока я на должности главного режиссера оставлен, но, может быть, сейчас, когда мы с вами говорим, я уже и снят. Во всяком случае, директор мне не звонит, звонят только актеры. Они не боятся, а директор боится даже позвонить и спросить хотя бы о здоровье.

Ф и л л и м о р . В одном из интервью вы сказали, что без создания вам минимальных условий, пока не переменится культурная политика в Советском Союзе, работать на Таганке вы не сможете, домой не поедете.

Л ю б и м о в . Да, это я и сейчас скажу... Это бесполезно. Я хочу работать в театре, но в таких условиях, которые они мне создали в последние годы, я не смогу работать.

Ф и л л и м о р . Сейчас пришел к власти Черненко. Может ли теперь измениться культурная политика?

Л ю б и м о в . Ну, поживем-увидим, кому суждено пожить. К счастью, это не они решают. Впрочем, конечно, они и этот вопрос могут решить.

Григорий СВИРСКИЙ

ПРОРЫВ

Роман о судьбе эмиграции из СССР

Рецензент лондонской газеты "Таймс" Э. Литвинов так писал об английском издании романа Григория Свирского "Заложники" ("Кнопф", 1976 г.): "Горечь отверженности, разделенная многими советскими евреями, дает свой привкус каждой странице "Заложников". Похоже, что от расточительства такого патриотизма и такого таланта советское общество теряет гораздо больше, чем оно думает".

Джон Эриксон в "Санди Таймс": "Описание этого соединения жестокости, шовинизма и антисемитизма... как санкционированного состояния умов оставляет неизгладимое впечатление".

В новом романе "Прорыв" Свирский остается верен себе и своему таланту. Главные действующие лица — люди, которых судьба поставила перед моральной дилеммой: остаться жертвами, покорно принимающими советскую действительность, или вступить в отчаянную борьбу за право эмиграции. Суды за изучение иврита, "Самолетный процесс", "Письмо 39-ти", травля еврейских активистов — вся документальная канва еврейской эмиграции сохранена автором в романе.

Но не менее драматичными оказываются и главы, посвященные жизни героев в Израиле и на Западе. Неизбежная идеализация "земли обетованной", придававшая им силы в неравной борьбе, оказалась для многих источником мучительных разочарований при столкновении с реальностью. Чудовищная этническая и культурная чересполосица в молодом государстве, окруженность врагами, ограниченность природных ресурсов, приливы и отливы эмиграции, бескорыстный энтузиазм и цепкая коррупция — все дано автором через реальные человеческие драмы, через судьбы героев.

"Прорыв" — многоплановая эпопея, созданная пером мастера, яркое историческое полотно, посвященное одному из самых драматичных эпизодов новейшей истории: "исходу" сотен тысяч евреев (а затем и неевреев) из России на Запад.

Цена книги (560 стр.) — 18 долларов. Заказы и чеки
высылать по адресу:

Hermitage Publishers of New Russian Books
2209 Shedowood Dr., Ann Arbor. MI 48104



Молотов, Риббентроп и Сталин.
Подписание Советско-германского пакта. Москва, 1939 год.



Чарльз БОЛЕН

ПАКТ СТАЛИН-ГИТЛЕР: 1939 ГОД

Среди сотрудников нашего посольства прочно утвердилось мнение, что нет лучшего способа истратить деньги, чем снять всем известную нам дачу, расположенную приблизительно в семнадцати километрах от Москвы. От нее шел прямой путь к находящейся поблизости летней резиденции Сталина, и поэтому дачу мы окрестили "грузинской военной дорогой".

Это был двухэтажный, выкрашенный в светло-желтый цвет бревенчатый дом с четырьмя спальнями, гостиной и верандой, с очаровательным видом на холмистую сельскую дорогу. Время от времени из водонапорной башни к нам даже поступала горячая вода.

С западной стороны дома была небольшая кухня с погребом. Это были апартаменты человека по имени Пантелеймон. Он был женат, но его жену мы не видели годами —

Глава из книги: Charles E. Bolen. *Witness to History*. 1929-1969. Copyright by W.W.Norton. Авторские права на русский перевод публикуемой главы принадлежат журналу "Время и мы".

как она сюда попала и сколько здесь прожила, никто из нас так и не узнал.

Пантелеймон был сухопарым мужиком, лет шестидесяти, с неопишными усами. Он носил традиционную русскую рубаху и штаны, заправленные в голенища сапог. Был он всегда грязный, неизменно веселый и тошнотворно подобоострастный. Встречая меня, всегда кланялся и называл "барин". По слухам, во время гражданской войны воевал он то на стороне белых, то за большевиков, и уцелел, по-видимому, исключительно благодаря своей природной мужицкой хитрости.

Все мы, живущие на даче, видели насколько был он хитер и изворотлив. В обязанности Пантелеймона входило ухаживать за двумя тощими лошадками, у которых было несколько хозяев: американцы, снимавшие дачу, один из сотрудников немецкого посольства и Фицрой Мак-Лин, мой друг из английского посольства. Позже, когда вспыхнула война, это породило некоторую напряженность в наших отношениях — главным образом из-за огромного количества овса, которое, по словам Пантелеймона, требовалось для лошадей.

Точно норм овса никто не знал, пока Мак-Лин, сын полковника британской армии, не взял это дело в свои руки и не раскопал специальные правила, действующие на этот счет в армии. Он стал отпускать Пантелеймону именно столько овса, сколько было указано в армейских правилах. Пантелеймон безмолвно покорился. Скоро мы стали замечать, что лошади еще больше истощали. Битва продолжалась в течение двух месяцев. Пантелеймон утверждал, что русским лошадям нужно овса больше, чем английским. Мак-Лин спорил, пока не увидел, что лошади вот-вот издохнут. После этого он капитулировал, а Пантелеймон снова стал получать овес без ограничений. И мы так никогда и не узнали, кому он его продавал.

Дача в те мрачные дни была любимым местом нашего отдыха. В Москве трудно было найти развлечение. Конечно, балет был бесподобен, но репертуар его никогда не менялся (в те годы я, наверное, раз пятьдесят видел "Лебединое озеро" и, думаю, что сам мог бы протанцевать любое па из него).

В театрах ставились прекрасные пьесы — но все это был русский классический репертуар.

Фильмы были сплошной пропагандой. Они рассказывали о том, как счастливы в СССР рабочие и крестьяне и какой настал для них рай после революции. Исключение составляли картины Эйзенштейна (мне особенно запомнился "Александр Невский") и "Петр Первый" Петрова. Но залы в кинотеатрах были так переполнены, а вентиляция работала так отвратительно, что ходить туда было не удовольствием, а пыткой.

Путешествовать тоже было трудно. Российские расстояния огромны, а ездили тогда только на поездах. Гостиницы отвратительны. Еда и того хуже. Единственно, куда нам удалось съездить — это Ленинград и Киев.

Работы у нас было мало, а невозможность общения с русскими приводила к тому, что мы в основном вращались в среде дипломатов. Считая отношения с СССР важными, многие страны посылали сюда блестящих дипломатов. У нас появилась возможность встречаться с интереснейшими людьми — политиками, журналистами, газетными репортерами всех возрастов и поколений. Мы часто бывали на дипломатических приемах и обедах, которые проходили без формальностей и были оттого веселее и оживленнее, чем во многих других столицах мира.

Часто шумными компаниями мы выезжали на лоно природы. Летом играли в теннис, зимой бегали на лыжах, катались на коньках в парке имени Горького. Наша дача стала местом встреч в конце недели; по выходным здесь было особенно весело.

Вероятно, одним из самых популярных членов дипломатического корпуса был Ганс Гейнрих Герварт фон Биттенфельд, которого друзья звали просто Джонни. Джонни служил вторым секретарем немецкого посольства. У него были красивые карие глаза и легкая и приятная манера поведения — одним словом, он никак не походил на карикатурно изображенного и кочевавшего по страницам тогдашних европейских газет голубоглазого наци. Довольно приятной и не без своеобразного шарма была и жена Джонни, немка из Баварии.

Как и многие из нас, конец недели они обычно проводили на даче, Джонни как раз и был тем сотрудником немецкого

посольства, которого я назвал в числе совладельцев наших лошадей. Мы часто ездили вместе верхом и во время этих прогулок о многом говорили.

Мне всегда казалось, что Джонни, каких бы мы тем ни касались, был откровенен со мной. И все же я был немало удивлен, когда, вернувшись из Тегерана 16 мая 1939 года, он посвятил меня в некоторые секретные события, ставшие ему известными в те дни. Джонни сопровождал немецкого посла в Москве Вернера фон Шуленберга* приглашенного в Тегеран на свадьбу дочери шаха. Вернулся Джонни оттуда один, и на другой день мы отправились верхом на прогулку.

Пока мы ждали Пантелеймона, приведшего лошадей, Джонни рассказал, что, будучи в Тегеране, Шуленберг получил секретную телеграмму от Иоахима фон Риббентропа, министра иностранных дел Германии, в которой послу предписывалось по дороге в Москву заехать в Берлин для срочной консультации с Гитлером. Джонни сказал, что он не знает, о какой стороне иностранной политики фюрер хотел говорить, но было очевидно, что дело касалось СССР, и, судя по всему, происходило что-то необычное.

Итак, речь должна была идти о каких-то переменах в отношении к Советскому Союзу, но о каких именно? Многое должно было разъясниться, когда Шуленберг вернется в Москву с инструкциями своего правительства. И действительно, по инициативе Берлина, было назначено свидание немецкого посла с Молотовым и его помощником Потемкиным.

Тогда же, как рассказал мне Джонни, военный атташе при посольстве в Москве был вызван в Берлин, в военное министерство. Там хотели выяснить его точку зрения относительно того, был ли в те дни Советский Союз в военном отношении сильнее, чем в сентябре 1938 года. Атташе ответил отрицательно. Создавалось впечатление, что Берлин хотел оценить возможность советской контратаки в случае, если немцы нападут на Польшу. Однако Джонни не знал, насколько взаимосвязаны эти два события.

Я не мог понять, почему он рассказывал все это мне — дип-

* Ч.Болен ошибочно пишет фамилию немецкого посла — Шуленберг. По-немецки она звучит как Шуленбург.

ломату недружественной его правительству страны, посланному в Москву для того, чтобы писать политические репортажи. Неужто благодаря только нашим дружеским отношениям? Я знал, что Джонни отрицательно относится к нацистам, хотя он и был достаточно осторожен, чтобы не высказывать свои мысли вслух. С другой стороны, он был известен как человек открытый и искушенный и, главное, в отличие от нацистов терпимый, готовый выслушать любую точку зрения, независимо от того, как он относится к ней лично. Короче, его считали цивилизованным европейцем. В силу всего этого я доверял ему.

Обсудив всю его информацию с Грумоном, заменившим на посту американского посла Кирка, я набросал текст телеграммы, которую мы отправили в Госдепартамент. В телеграмме мы рассказали о всех "передвижениях" Шуленберга, подчеркнув, что вся эта информация нами получена сугубо конфиденциально.

Вскоре на даче состоялась еще одна встреча с Джонни. На этот раз он рассказал мне, что Риббентроп поручил Шуленбергу прощупать советское руководство относительно его желания наладить дружественные отношения с Германией.

20 мая мы послали в Вашингтон телеграмму следующего содержания: по приезде немецкого посла из Тегерана в Берлин Риббентроп (очевидно, выражая мысли Гитлера) высказал ему, что, по мнению немецкого правительства, коммунизма в Советском Союзе больше не существует и Коммунистический интернационал не является больше важным фактором во взаимоотношениях с Советами. Следовательно, между Россией и Германией больше не существует идеологических барьеров.

При таких обстоятельствах Гитлер высказал пожелание, чтобы посол, вернувшись в Москву, очень осторожно внушил советскому руководству, что Германия не питает больше враждебных чувств к России, и чтобы посол постарался определить теперешнюю советскую установку, касающуюся советско-немецких отношений. Риббентроп просил посла соблюдать чрезвычайную осторожность, чтобы ни при каких обстоятельствах не спугнуть Японию возможным сближением

с Советским Союзом. (Хорошие отношения с Японией были для Германии очень важны.)

Отвечая на вопрос Шуленберга, не считает ли Риббентроп желательным более прямой и решительный подход к советскому правительству — ввиду переговоров Советов с Англией,— Риббентроп заметил, что немецкое правительство не обеспокоено этими переговорами: оно не ожидает, что Англия и Франция пойдут на то, чтобы снабжать оружием Восточную Европу. Риббентроп также сказал послу, что он хотел бы урегулировать вопрос с Данцигом и автострадой через "коридор" в Восточной Пруссии и что даже в случае, если вспыхнет военный конфликт с Польшей, у Германии нет намерения ее полностью оккупировать.

Все эти инструкции, писали мы в телеграмме, Риббентроп дал послу устно, предоставляя ему свободу действий. Шуленберг сам должен был решить, как и в какой форме все это преподнести советскому правительству.

Создавалось впечатление, что Германия, не принимая на себя никаких обязательств, хотела бы уведомить советское правительство об изменении в высших сферах Берлина взглядов на СССР. Посол также должен был заверить советское правительство в том, что Германия хочет сохранить независимость Польши. Хотя Риббентроп это и отрицал, но похоже было, что цель этого демарша была прямо связана с англо-советскими переговорами.

Этим демаршем Берлина не выражалось никаких конкретных предложений Москве, но его вполне можно было рассматривать как первый шаг по пути к сближению. Все дальнейшее зависело от реакции советского правительства во время переговоров с Шуленбергом.

Прямого ответа от Советов не последовало. Но стало известно, что официальные лица советского посольства в Берлине, и в первую очередь советник Астахов, дали понять германскому Министерству иностранных дел, что советская иностранная политика отныне развивается на новой основе и в новом направлении. Подобное заявление было сделано немецкому корреспонденту начальником секции при комиссариате Министерства иностранных дел СССР.

Инструкция Риббентропа послу недвусмысленно говорила, что немцы прощупывают советское правительство, чтобы достигнуть с ним соглашения и избежать кошмара войны на двух фронтах, — кошмара, хорошо известного немцам по первой мировой войне.

Таков был текст первой нашей телеграммы. В заключение мы просили сохранить в тайне как источник этой информации, так и место, откуда она поступила.

Во время своих бесед с Джонни я никогда ничего не записывал. Позже, когда представлялась возможность, я делал наброски на обрывках бумаги или случайных конвертах. И только, когда я возвращался в свой кабинет, я все записывал от руки. От диктовки секретарше мне пришлось отказаться, ибо мы не были уверены, что в потолок и в стены не вмонтирована аппаратура для подслушивания. У меня был настолько неразборчивый почерк, что часто я и сам не мог прочесть мной же написанное. Иногда мне приходилось разбираться в собственных записях, прибегая к услугам стенографисток. Однако я почти никогда не находил фактических ошибок. Сведения, получаемые мной от Джонни, всегда передавались предельно точно. У меня в те дни была хорошая память, и мне не составляло большого труда запомнить и передать беседу, которую я вел накануне. Все подготовленные мной телеграммы давались на подпись нашему новому послу Грумону и затем за его подписью и в закодированном виде посылались обычной почтой в Вашингтон. Информация была настолько срочна, что ее невозможно было отправлять дипломатической почтой, которая шла гораздо медленнее обычной. Все сообщения поступали на имя Карделла Холла, секретаря Госдепартамента. (Должность эта соответствует должности министра иностранных дел.) Холл решал, кто еще будет читать присланные сообщения.

О моем источнике информации в посольстве знали только три человека: Лоренс Штейнгарт, Грумон и моя жена.

Мы не столько беспокоились об утечке информации из Москвы, хотя наш дипломатический код и не был сложным, сколько из Вашингтона — города, известного своими сплетнями. Мы даже вынуждены были соблюдать конспирацию в

отношении французских и английских дипломатов — и все ради того, чтобы не подвергать опасности Джонни. Впрочем, вопрос о том, посвящать ли во все происходящее Париж и Лондон, мы предоставили решать Вашингтону. Позже выяснилось, что, получив нашу последнюю телеграмму, Холл сам позвонил во французское и британское посольство и посвятил их во все детали готовящегося советско-нацистского пакта. Не было никаких причин предполагать, что над головой Джонни может нависнуть опасность. Очень часто наши беседы с ним происходили в здании немецкого посольства. Советским и в голову не могло прийти, что какой-то немец пойдет на то, чтобы тайно передавать информацию американцам. Ничего не знал о советско-германских переговорах и итальянский посол в Москве Августо Россо, хотя Италия и была союзницей Германии. Россо, будучи ярким антифашистом, стоял за сближение с Америкой (кстати сказать, он был женат на американке). После войны Россо по ошибке был объявлен нацистом и больше никогда не выступал на политической арене.

После того как стало известно о плане Гитлера прощупать Москву, нас более всего интересовала реакция Кремля. Прошло несколько дней после свидания Шуленберга с Молотовым и Потемкиным. И я снова встретился с Джонни. 22 мая я телеграфировал в Вашингтон следующее. После того как Шуленберг проинформировал советское руководство о новом отношении Германии к СССР, немецкий посол решил задать Молотову вопрос — возможно ли продолжить советско-германские переговоры, которые были положены под сукно еще несколько месяцев назад. Молотов выразил сомнение в подобной возможности при отсутствии "политической базы" для таких переговоров. И в свою очередь осведомился у посла, каково его мнение по этому поводу. Шуленберг на это ответил, что он как посол не уполномочен определять политику своей страны, но хотел бы уточнить у советского министра иностранных дел, что именно он подразумевает под "политической базой". Теперь Молотов уклонился от прямого ответа, отделавшись туманными заявлениями о том, что необходимо время, чтобы обдумать предложения Берлина.

Судя по всему, Молотов ждал конкретных предложений Берлина. Но на это как раз и не мог пойти Риббентроп, опасавшийся отрицательной реакции Японии — по крайней мере, до тех пор, пока не завершатся германо-японские переговоры.

Таково было мнение Джонни, и он был прав. Несмотря на намеки Молотова, что конкретные предложения Берлина найдут в Москве отклик, правительство Германии дало инструкции Шуленбергу не предпринимать никаких шагов для дальнейшего сближения с Россией.

Итак, Молотов ждал. Риббентроп маневрировал.

Хотя мотивы колебаний немцев оставались неизвестны, но косвенным образом эти колебания подтверждали информацию, которую я получал от Джонни. Если бы Джонни "начинял" меня ложной информацией, преследуя цель сорвать переговоры Англии и Франции с Советским Союзом, то его сообщение о том, что Берлин решил замедлить переговоры с Москвой, выглядело бы просто нелепо.

Дипломатический корпус в Москве напоминал жужжащий улей — все обсуждали, в каком направлении будут развиваться события. Опасность предстоящего советско-германского сговора видели не все. Были такие, кто считал, что цель всех этих демаршей Молотова состояла в том, чтобы оказать давление на англичан и французов и добиться от них недвусмысленного обязательства защищать советскую западную границу. Другие же, как, например, Джонни, были уверены, что Сталин на самом деле стремится к сближению с Германией.

Насколько расходились в те дни оценки политической ситуации видно из статьи, опубликованной в "Правде" 21 марта 1939 года. В статье анализировалась книга, автор которой предсказывал, что война между Советским Союзом и нацистской Германией неминуемо вспыхнет. "Правда" называла книгу "реалистичной" и подчеркивала, что буржуазные правительства Англии и Франции готовы к сделке с Гитлером, ко "второму Мюнхену". Единственная надежда в этих странах на "народный фронт", который приведет к победе Советского Союза над немецкими фашистами.

Неясно было, зачем вообще напечатана эта статья. Некоторые думали, что Москва пытается склонить немцев на более решительные шаги, другие утверждали, что цель статьи в том, чтобы подстегнуть союзников и добиться, чтобы они заключили договор с Советами. Но ничто не подтверждало правильности этих точек зрения.

Между тем июнь не ознаменовался никакой активностью. Из СССР поступали сообщения, что эта ситуация может привести к военному союзу с англичанами и французами.

Близкий к Сталину Андрей Жданов в своем интервью "Правде" намекал на возможность создания "мощного барьера против агрессии". Похоже, ждановское заявление было явно рассчитано на то, чтобы подтолкнуть немцев: мол, пока не поздно, говорите яснее!. Со слов Джонни я чувствовал, что Риббентроп прямо-таки рвется заключить с Японией антикоминтерновский пакт и ради этого готов даже пожертвовать возможной сделкой с Советским Союзом.

С другой стороны, нельзя было сбрасывать со счета, что Шуленберг был дипломатом восточноевропейской, а не западной ориентации. В своем рвении достигнуть пакта с Советами он явно превышал данные ему Берлином полномочия.

Правда, новых шагов он не предпринимал, но сохранял постоянные контакты с Молотовым, не давая остывать идее германо-советского договора. И так продолжалось до 28 июня, пока, вернувшись очередной раз из Германии, он снова не отправился на аудиенцию к Молотову.

Спустя несколько дней Джонни в очередной раз посвятил меня в ход событий, и 1 июля я послал в Вашингтон новое сообщение. Вот его содержание. Посол получил в Берлине полномочия лично заверить Молотова, что у Германии нет никаких агрессивных намерений в отношении СССР. Желая подтвердить это, он согласился на то, чтобы немецкая печать полностью прекратила нападки на Советский Союз. По словам Шуленберга, у Германии не было никаких видов на Украину. К тому же пакт о ненападении, заключенный с Балканскими странами, также указывал на то, что Берлин по отношению к СССР настроен миролюбиво. На это Молотов, впрочем, возра-

жил, что пакт этот заключен с другими странами, но не с СССР. Улучив момент, посол спросил, готов ли Молотов на такое же соглашение с Германией? Молотов от ответа уклонился. Но ведь пакт о ненападении, заключенный между СССР и Германией в 1926 году, все еще остается в силе, продолжал Шуленберг. Молотов ответил, что он рад этому заявлению, ибо как раз на этот счет у СССР были сомнения, ввиду новых соглашений Германии с другими странами. На это посол возразил: если речь идет о пакте между Германией и Италией, то именно этот договор никак не затрагивает старого пакта с Советами. Тогда Молотов коснулся вопроса о Польше, ведь Германия денонсировала договор с ней. Польша — это вопрос особый, заметил Шуленберг, ибо заключение ею договора с Англией стало звеном в английской политике "окружения" и входит в явное противоречие с пактом о ненападении, подписанным Германией и Польшей.

Во время беседы были также затронуты торговые взаимоотношения между СССР и Германией. Молотов посоветовал, чтобы этот вопрос был рассмотрен в ходе переговоров между немецкими торговыми представителями и наркомом внешней торговли Микояном. Уже прощаясь, Шуленберг спросил, правильно ли он понял, что советское правительство желало бы установлений нормальных отношений со всеми странами, не нарушающими советских интересов? И относится ли это к Германии? Молотов ответил утвердительно.

Судя по рассказу Джонни, Молотов был сдержан и не распространялся на тему советско-германских отношений, но он — снова! — проявлял интерес к возможности конкретных политических предложений Германии. Причем, по мнению Джонни, в позиции Молотова наметился даже некоторый прогресс, ибо он больше не упоминал о том, что для улучшения торговых отношений между двумя странами необходима "политическая база".

Джонни не переставал посвящать меня в вопросы советско-германских отношений, а я не переставал думать, почему он это делает. Я удивлялся этому, но не решался задавать никаких вопросов из-за опасения, что он замолчит. Ведь наши

страны были в оппозиции, и я, несмотря на дружбу с Джонни, не мог снабжать его какой-либо политической информацией.

В конце концов я понял, что Джонни вначале просто недооценил важности майской телеграммы относительно перемен в политике Гитлера по отношению к СССР. Позже, когда ухаживания нацистов за Москвой, стали яснее, он, возможно, и сделал "переоценку ценностей", но, поскольку мы были друзьями, то ему уже было сложно не делиться со мной известной ему информацией.

По-видимому, он понимал, на какой идет риск, однако не проявлял ни страха, ни нервозности. Всем своим видом он показывал, что презирает всякую конспирацию. Он никогда не звонил мне тайно, никогда ничего не передавал шепотом. Все наши разговоры велись совершенно открыто — чаще всего, когда мы ездили верхом, играли в теннис или сидели за рюмкой коньяку.

10 июля в Ленинград прибыли британская и французская делегации для обсуждения с СССР вопроса об оборонительном пакте. Они прибыли на пароходе, добирались более двух недель, и сам способ их передвижения вызвал много кривотолков среди аккредитованных в Москве дипломатов.

Делегации возглавляли престарелый британский адмирал и один из французских генералов. Сотрудники британского посольства были буквально потрясены, на каком уровне их страны намерены вести переговоры с Советами. Они-то считали, что делегации должны были возглавляться министрами иностранных дел, по крайней мере, для того, чтобы продемонстрировать серьезность намерений их стран. Понятно, что прибывшие делегации никакими полномочиями не располагали. Этот полусерьезный англо-французский подход к дипломатическому представительству предвещал провал переговоров.

В тот же день я информировал Вашингтон о том, что в советско-германских переговорах нет продвижения и что Берлин опять дал инструкции послу Шуленбергу не делать навстречу Москве никаких шагов.

Однако вскоре стало ясно, что немецкое посольство ждет дальнейших инструкций относительно возобновления торго-

вых отношений с Москвой. Не прошло и недели, как Джонни сообщил мне: "Советский Союз заказал немцам турбины на пять миллионов марок". Событие это говорило об очень многом, ибо доставка турбин могла растянуться на 14 месяцев, и уже одно это можно было рассматривать как "определенную уверенность" Москвы в стабильности советско-германских отношений. Одновременно поступило сообщение, что Советский Союз разместил в немецких фирмах ряд новых военных заказов.

Министерство иностранных дел конфиденциально сообщало, что в готовности Германии идти на такого рода сделки Советский Союз может увидеть реальные предпосылки для сближения.

С другой стороны, у нас создавалось впечатление, что и переговоры с англичанами и французами идут крайне вяло, хотя они и продолжались. Казалось, что главным препятствием на их пути было нежелание Польши и Румынии предоставить советским войскам проход в случае возникновения войны с Германией. Англичане и французы явно не хотели влиять на эти страны — да и не могли они это сделать, ибо Польша, например, отлично понимала, что переход ее границ советскими войсками будет означать конец ее независимости.

Итак, хотя переговоры с англичанами и французами тянулись, Джонни мне сообщил, что Советский Союз не подпишет с ними никаких соглашений из-за боязни спровоцировать Гитлера на какой-либо антисоветский шаг, и я немедленно передал это в Вашингтон.

Но, с другой стороны, вплоть до 5 августа не существовало никаких доказательств того, что СССР и Германия приближаются к политическому соглашению. Вечером 5 августа Джонни рассказал мне о том, что два дня назад Шуленберг встретился с Молотовым и немцы впервые убедились в серьезных намерениях Москвы пойти на сближение.

Получив соответствующие инструкции из Берлина, немецкий посол заверил Молотова, что у Германии нет никаких агрессивных намерений по отношению к Советскому Союзу, что она не намерена нарушать статус кво в Прибалтике и бу-

дет уважать все советские интересы. Ко всему этому Молотов проявил большой интерес и спросил посла, подпадает ли Литва, находящаяся в сфере советских интересов, под статус кво, распространенный на страны Прибалтики. Посол ответил утвердительно. Тогда Молотов указал на существование ряда пунктов, по которым до сих пор у СССР нет доверия к политике Германии. Эти пункты были следующими: антикоминтерновский пакт; прямая или косвенная поддержка Японии на Дальнем Востоке и, наконец, очевидное намерение Германии — с тех пор как Гитлер пришел к власти — включить СССР в черный список своих врагов. Доказательством этому служит то, что Берлин бойкотирует любую европейскую конференцию, в которой Советский Союз принимает участие.

В ответ Шуленберг стал уверять Молотова, что антикоминтерновский пакт на самом деле направлен против Англии. Это заявление могло служить разве лишь примером дипломатического двуличия, ибо, строго говоря, в нем не было никакой логики. Разве лишь то, что Гитлер по чисто тактическим соображениям заявил, что сталинское руководство больше не является коммунистическим, а превратилось в правительство великой страны. Таким образом, Гитлер мог сделать вывод, что Советы более не заинтересованы в распространении коммунизма. И потому антикоминтерновский пакт потерял быстрое предосудительное по отношению к Советам значение. А так как Англия являлась теперь главным врагом Германии, то Лондон и был тем местом, куда были направлены стрелы антикоминтерновских стран.

Советских руководителей, конечно, было трудно одурачить такого рода объяснениями, но они соглашались принимать их за чистую монету, чтобы достигнуть своей главной цели — удерживать линию фронта подалеже от своих западных границ.

Шуленберг сказал Молотову, что Германия заинтересована в развитии дружеских отношений с Москвой, однако, если Россия вступит в союз с Англией и Францией, это будет рассматриваться Берлином как враждебный акт. На это Молотов ответил, что Советский Союз также заинтересован в нормали-

зации и улучшении своих взаимоотношений с Германией, но будет и дальше проводить свою "политику защиты против агрессии".

Джонни считал, что это заявление Молотова действительно открыло возможность для улучшения советско-германских отношений. Однако для того, чтобы усыпить подозрительность Советов, необходимы будут длительные, трудные переговоры. Ссылка Молотова на намерение СССР и дальше проводить политику, направленную против агрессии, свидетельствовала, что Советы все еще серьезно относятся к заключению военного союза с англичанами и французами, но только на советских условиях. Теперь советско-германские переговоры сдвинулись наконец с мертвой точки.

На основе этой информации руководители американского посольства, которые были посвящены в ход событий, пришли к заключению, что в Москве и Берлине происходит нечто очень важное и, по всей вероятности, будет подписан советско-германский договор. Того же мнения придерживался и новый американский посол Штейнгарт.

Нетрудно догадаться, с каким интересом и даже волнением выслушивал я все то, что мне сообщал в те дни Джонни.

Он ошибся относительно отрезка времени, который понадобится Сталину для того, чтобы избавиться от сомнений относительно подлинных намерений Гитлера. Всего в течение двух недель были выработаны детали договора, который привел ко второй мировой войне.

О договоре Джонни сообщил мне 15 августа на балу в немецком посольстве, на который была приглашена вся молодежь дипломатического корпуса. Мы явились на бал целой компанией; я, моя жена, Кармель Оффи, секретарь тогдашнего американского посла в Париже Буллита, который был первым американском послом в Москве, Иосиф П.Кеннеди, младший, сын нашего посла в Берлине и старший брат будущего президента.

Появился я на балу примерно в 10 вечера и увидел Джонни, стоявшего в углу зала. Он сказал, что Шуленберга на балу нет — он уехал в Министерство иностранных дел для встре-

чи с Молотовым, получив очень важные инструкции лично от Гитлера. Сам Джонни этих инструкций точно не знал, но ему было известно, что Германия готова была пойти очень далеко навстречу советским требованиям. Он добавил, что более подробно расскажет мне обо всем, как только вернется Шуленберг.

Я был сильно взволнован и думал о том, какой огромной важности события развиваются в Кремле в то время, как я стою и пью шампанское в немецком посольстве. Я старался убить время, танцую и беседуя с разными людьми, однако ограничивая себя в напитках. Мне необходимо было сохранить свежую голову, запомнить все, что расскажет Джонни, и немедленно отправить информацию в Вашингтон.

Шуленберг появился примерно часа через полтора. Он был изысканно вежлив с гостями и ничем не выдавал, что только что был непосредственным участником события, которое вызовет самое большое потрясение в современной истории.

Немного позже Джонни подошел ко мне и, не расставаясь с шампанским, мы устроились в углу зала. Под звуки оркестра он вкратце рассказал мне, что нацисты наконец согласились с русскими о необходимости "политической базы", позволяющей устранить все разногласия и наметить общие пункты договора. Затем он пригласил меня прийти завтра к нему в кабинет, где он сможет посвятить меня в детали. Я так и сделал, и он — на этот раз негромким голосом — рассказал мне о результатах переговоров Молотова с Шуленбергом. Джонни сообщил также, что на другой день он летит в Берлин и везет с собой полный отчет о переговорах.

Я вернулся в посольство и после консультации с Грумом и Штейнгартом набросал черновик следующего сообщения в Вашингтон: "Накануне вечером немецкий посол в течение полутора часов беседовал с Молотовым. Посол поставил его в известность относительно новой политики своего правительства по отношению к Советскому Союзу. По словам посла, инструкции исходили лично от Гитлера. Посол повторил — в который уж раз! — что Германия не имеет никаких агрессивных намерений по отношению к СССР и что у них нет

"конфликта интересов от Балтийского до Черного моря". Он также сказал, что его правительство готово обсудить любые территориальные вопросы, связанные с Восточной Европой. Посол подчеркнул, что серьезные переговоры должны начаться в ближайшем будущем, иначе события могут развернуться неблагоприятным образом, затрагивающим взаимоотношения обеих стран. Шуленберг заканчивал свое сообщение заявлением, что германское правительство готово послать делегата высшего ранга обсудить оставшиеся вопросы в Москве. Я понял, что Шуленберг не передавал Молотову этих инструкций в письменном виде, он просто говорил, но его слова были стенографически записаны. Посол добавил, что Гитлер хотел бы, чтобы все сделанные им заявления были переданы лично Сталину.

Молотов обещал тотчас же передать Сталину содержание этого разговора и добавил, что теперь советское правительство впервые убедилось в серьезности намерений Германии улучшить отношения с СССР. Он сказал, что советское правительство будет приветствовать продолжение этих политических переговоров, но только в том случае, если не останется сомнений, что они приведут к окончательным и конкретным результатам. Говоря о возможных результатах, Молотов перечислил следующие вопросы: заключение пакта о ненападении; прекращение прямой или косвенной поддержки японской агрессии на Дальнем Востоке; урегулирование всех взаимных интересов на Балтике.

Молотов добавил также, что все три вопроса должны быть урегулированы во время предварительных переговоров, еще до того, как будет принято окончательное решение о приезде в Москву специального эмиссара Гитлера. Результаты беседы Молотова с Шуленбергом были переданы по телеграфу в Берлин, а подробный отчет был послан специальным дипломатом.

Рассказывая мне о достигнутой договоренности о подписании пакта, Джонни подчеркнул, что немецкую миссию в Москву, по всей вероятности, будет возглавлять Риббентроп, однако он не был в этом уверен и советовал этот факт опус-

тить, чтобы не вводить в заблуждение Госдепартамент. Он, конечно, понимал, что я передавал все эти сведения прямо в Вашингтон.

Позже я пожалел, что послушался его, так как именно Риббентроп был избран для этой миссии. Джонни сказал, что хотя он и раньше предвидел возможность подписания советско-германского договора, но теперь у него не оставалось на этот счет ни малейшего сомнения. Он выглядел очень подавленным, так как знал, что заключение этого пакта в скором времени будет означать нападение на Польшу. Немцы, рассказывал Джонни, торопятся подписать с Советами пакт, чтобы успеть еще во время хорошей осенней погоды бросить свои подвижные подразделения в атаку. Советские, как всегда, проявляли осторожность: они считали, что было бы ошибкой допустить столь быстрый приезд в Москву эмиссара Гитлера.

Несмотря на всю неожиданность событий, я был уверен в абсолютной достоверности информации, передаваемой Джонни. И все же я был связан полученным воспитанием и еще с юности впитанным правилом: рассказывать и писать только о том, что подтверждено фактами. Но здесь я все-таки решил рискнуть и хоть как-то все-таки сообщить о соглашениях, достигнутых между Молотовым и Риббентропом. Текст моей последней телеграммы гласил: "Если и рано говорить об окончательном сближении Германии и СССР, то не оставляет никакого сомнения тот факт, что в последние два с половиной месяца идут непрерывные переговоры между немецким послом и Молотовым. К тому же у меня есть все основания предполагать, что Советы не информировали англичан и французов об этих переговорах".

Несмотря на то что я был совершенно уверен, что наконец появилась чрезвычайно важная "политическая база" для советско-нацистского сговора и что Польша, по всей вероятности, станет первой их жертвой, я не должен был, тем не менее, передавать эти свои умозаключения в Вашингтон — ведь договор еще не был подписан. В последнюю минуту могли возникнуть самые непредвиденные осложнения. Но что было очевидным и, пожалуй, самым важным — Советы предпочли

договариваться с Гитлером, а не с англичанами и с французами.

Моя телеграмма была встречена в Вашингтоне с некоторым скептицизмом. Госдепартаментом был опубликован даже специальный меморандум, в котором открыто выражалось сомнение относительно подписания советско-германского договора. "Как это возможно, — подчеркивалось в меморандуме, — чтобы Советы, исповедующие марксизм, пошли бы на политический или военный сговор с их злейшим врагом — нацистской Германией?" То была наивная вера, что советские вожди ставят исповедуемую ими марксистскую идеологию выше своих имперских интересов. Тогда как эти интересы — интересы удержания и расширения власти — всегда были для них превыше всего. И все-таки, несмотря на сдержанную реакцию Госдепартамента, государственный секретарь Холл счел необходимым пригласить британского и французского послов и вкратце изложить содержание полученной от меня телеграммы.

Много лет спустя, на Потсдамской конференции, я обедал с Антони Иденом, бывшим в те дни министром иностранных дел Великобритании. Иден сказал, что одним из шифровальщиков Министерства иностранных дел был коммунист (или, как он выразился, в "нашем кодовом зале" присутствовал коммунист), который задержал информацию из Вашингтона о поездке Риббентропа в Москву. И он, Иден, так и оставался в неведении, пока из Берлина не поступило официальное заявление. Мне неизвестно, как информация Госдепартамента была принята в Париже, но французское правительство никак на нее не прореагировало.

После отъезда Джонни в Берлин я не получал никаких сообщений вплоть до приезда 23 августа Риббентропа в Москву.

После шести лет официально проповедуемой вражды к Гитлеру и нацизму такой поворот событий в глазах многих был подобен землетрясению. Возникшее замешательство отразилось даже на самой церемонии приема Риббентропа в Москве. У русских не было нацистских флагов. Наконец их достали — флаги с изображением свастики — на студии "Мос-

фильм", где снимались антифашистские фильмы. Советский оркестр спешно разучил нацистский гимн. Этот гимн был сыгран вместе с Интернационалом в аэропорту, куда приземлился Риббентроп. Ничего более противоестественного даже нельзя было представить. После короткой церемонии Риббентропа увезли в Кремль, где немедленно начались переговоры. В два часа ночи был подписан Советско-Германский пакт о ненападении.

Наутро мне позвонил Джонни и спросил, не смогу ли я зайти к нему в Германское посольство. И вот в те часы, когда Риббентроп отсыпался после ночных переговоров и празднеств в Кремле, мой друг посвятил меня в детали пакта, подписанного сроком на десять лет. Он сказал также, что на секретном заседании было достигнуто "полное соглашение", касающееся судьбы Восточной Польши, Эстонии, Латвии и Бессарабии. Было подтверждено, что все эти страны находятся "в сфере интересов Советского Союза", Западная Польша должна была отойти к Германии. Ничего не было сказано относительно Финляндии.

В секретном протоколе было также записано, что Советский Союз получит территориальные компенсации — за все возможные изменения границ, касающиеся стран, расположенных между Германией и СССР.

Одно из основных условий договора: не присоединяться к странам, враждебно настроенным как к Германии, так и к СССР. Это означало, что Советский Союз ни при каких условиях не мог поддержать Англию и Францию в их конфликте с Гитлером, а Германия обязывалась соответственно не входить в договор с Японией против СССР.

Я был изумлен тем, как Джонни рискует, передавая мне столь секретную информацию в стенах немецкого посольства. По-видимому, он чувствовал себя здесь в полной безопасности. И, действительно, с ним ничего и никогда не случилось. Было очевидно, что ничто из наших разговоров никуда не ушло и не просочилось.

Джонни рассказал, что все переговоры велись лично Сталиным, не скрывавшим от Риббентропа, что он давно уже хо-

тел сближения с Германией. Когда пакт был подписан, Сталин поднял бокал за Гитлера и сказал: "Немецкий народ любит своего вождя!" И назвал Гитлера "молодцом".

Джонни был очень подавлен всем происшедшим. Он ясно предвидел немецкое нападение на Польшу и пока что решил возвратиться в свой полк.

Наивность британского посла Сидса являла собой жалкое зрелище: он все еще верил Молотову и его заверениям, что Риббентроп приехал в Москву лишь для переговоров, что до какого-либо соглашения еще далеко и что подобного рода договор может быть совместим с советско-англо-французским союзом против агрессии. Со стороны Молотова это было, конечно, верхом нечестности.

Узнав о подписанном в Москве пакте, Сидс, вероятно, мог утешать себя лишь тем, что придет время и Сталин будет так же коварно обманут, как обмануты теперь союзники.

Представляю, как огорчен был наш посол Штейнгатт, узнав, в каком неведении были англичане. Но и я, и Штейнгатт понимали, что ни при каких условиях мы не вправе поставить даже под малейшую угрозу наш источник информации.

На фоне всего происходящего было ясно, что Сталин и Молотов сами вели все переговоры и не думая советоваться с остальными членами Политбюро. Вот почему маршал Ворошилов, на которого были возложены переговоры с англичанами и французами был расстроен после опубликования пакта.

Как нам рассказали, всегда живой и экспансивный Ворошилов был сдержан и подавлен, объявляя, что договор с союзниками не может быть подписан, поскольку это запрещено подписанным между СССР и Германией пактом о ненападении. Вся эта тактика представляла собой еще один пример хитрости и вероломства Сталина, ибо, если бы Ворошилов знал, что его миссия состоит лишь в том, чтобы маскировать лицемерие Сталина, он бы не смог так искренне и успешно выполнять возложенное на него задание.

Да и вообще — весьма сомнительно, что Сталин намеревался когда-либо подписать договор с Англией и Францией. Объясняя это, я бы не хотел снова и снова повторять, что для большевистских вождей всегда было самым главным сохранение их власти, а не интересы России. Трудно себе представить, чтобы Сталин когда-нибудь верил в целеустремленность и в силу французов и англичан, в их способность оказать серьезное военное давление, могущее предупредить нападение Гитлера на СССР. Таким образом, напрашивается вывод, что миссия английского и французского послов никогда не имела шансов на успех.

Фактически нарастающая мощь нацистов и преспектива, вытекающая из подписания советско-немецкого договора, — вот что заставило Сталина заключить с ними пакт. Он явно не хотел, чтобы Гитлер захватил всю Польшу и чтобы его танковые части приблизились к Москве. К тому же Риббентроп дал ему почти все, что он требовал и, казалось, что, если "все пойдет хорошо", Советский Союз мог рассчитывать на неограниченный период мирного сосуществования с Германией.

На бумаге соглашение выглядело так: Восточная Польша, прибалтийские страны и Бессарабия отойдут к "сфере влияния" Советов, а немцам не давалось взамен ничего, кроме той территории, за которую они захотят драться. Однако Германия получала нечто чрезвычайно для нее важное: возможность избежать войны на два фронта.

Правда, Сталин ошибся относительно выигранного времени (оно даже не составило полных двух лет), но все-таки он был в состоянии немало сделать для подготовки армии к войне после обескровивших ее жесточайших чисток. Если бы Германия напала на СССР в 1939 году, Россия не выдержала бы ее сокрушительного удара и советская система была бы уничтожена.

Англичане задолго до лета 1941 года предсказывали нападение немцев на Советский Союз, но Сталин считал, что пакт был хорошей сделкой для Гитлера и что Гитлер никогда не откажется от нее, тем более что угроза нападения со стороны СССР выглядела маловероятной.

Советско-нацистский пакт — за исключением его секретных пунктов — был оглашен на следующий день после его подписания, и он потряс весь мир. После стольких лет антинацистской пропаганды русский народ был оповещен о сговоре с немцами. Но в то же время этот послушный народ почувствовал и огромное облегчение: отдалилась угроза войны. Успокаивала мысль, что мудрому Сталину удался ловкий тактический трюк. Член британского посольства, провожавший на вокзале британских и французских представителей, видел, как двое выделенных для их проводов русских, глядя друг на друга, едва сдерживали смех.

Что касается меня, то я понимал, что этот пакт означает нападение на Польшу, но не представлял, какова будет реакция Англии и Франции. Многие тогда не предвидели, каковы будут последствия разгоревшейся европейской войны. Считалось, что силы союзников примерно равны силам немцев (вероятно, этой же точки зрения придерживался и Сталин). Стремительное нападение немцев на Францию, происшедшее годом позже, считалось невероятным и даже не обсуждалось.

США были единственной страной, кто мог полностью представить себе результаты закончившихся переговоров и располагал на этот счет исчерпывающей информацией, Госдепартамент впоследствии с похвалой отозвался о работе нашего посольства в Москве, сообщившего президенту Рузвельту обо всем происходящем.

Я уже писал, что Вашингтон старался предупредить англичан и французов, но безрезультатно. Во всяком случае Госдепартамент не сделал никаких шагов, которые могли бы поставить вашингтонскую администрацию в неловкое положение, после того как пакт был оглашен.

А какова дальнейшая судьба Джонни? Только после войны я понял, почему он, немецкий патриот, рискуя головой, передавал мне, представителю недружественной страны, столь секретную информацию. Джонни — на одну четверть еврей — сам рассказал мне, что уже начиная с весны 1939 года он был активным членом подпольной организации сопро-

тивления, действовавшей среди немецкой аристократии. Он надеялся, что если на Западе вовремя узнают о сделке, заключенной между Гитлером и Сталиным, то еще можно будет вмешаться в ход событий и избежать второй мировой войны. Джонни также предполагал, что, если французы и англичане узнают о готовящейся сделке, это толкнет их на то, чтобы смягчить свою позицию по отношению к условиям Советов. Но, как и я, он отдавал себе отчет в том, что надежды на успех такого плана минимальны.

Однажды, уже после войны, он в прямой и довольно резкой форме выразил свою мысль: "У нас была возможность договориться с Советским Союзом, потому что нам не надо было считаться с общественным мнением, чтобы отдать все прибалтийские страны и Восточную Польшу. Англичане и французы не могли этого сделать, поскольку были обязаны считаться с общественным мнением".

Подпольное сопротивление, к которому принадлежал Джонни, не было хорошо организовано. Как такового заговора против Гитлера еще не существовало. Эта группа была спаяна лишь глубокой антипатией к нацизму. Шуленберг с его сочувствием антигитлеровским настроениям, по-видимому, даже не знал о том, что такая группа существует.

Мне нравился Шуленберг. Это был немец старой школы, даже своим обликом вызывавший симпатию: высокий, красивый, любезный, приветливый и, я думаю, вполне здравомыслящий. Он много знал о России, еще будучи немецким генеральным консулом в Тифлисе, после первой мировой войны. Шуленберг был решительно против нападения немцев на Советский Союз в 1941 году. В 1944 году он присоединился к заговору против Гитлера и, когда заговор не удался, был схвачен, подвергнут пыткам и казнен.

Джонни Герварт воевал в течение всей войны: вначале в составе кавалерийской дивизии, преобразованной впоследствии в пехотный полк. Он был участником всей трехнедельной Польской кампании, а затем его перебросили на Западный фронт. 10 мая 1940 года его полк одним из первых вторгся во Францию и дошел до Беарица. Взятие Беарица означало полную оккупацию Франции. 22 июня 1941 года

Джонни участвовал в нападении на Советский Союз и провёл на Восточном фронте в течение двух лет. Он прошел, таким образом, всю войну, не получив даже царапины и не попав в плен. Единственный раз осколок снаряда разорвал подкладку его шинели. К концу войны Джонни был прикомандирован к штабу генерала фон Костринга, на которого были возложены задачи установления контактов с пленными немцами.

В дни подготовки государственного переворота, возглавляемого графом Штауфенбергом, Джонни находился на Балканах. Из-за воздушных бомбардировок, которым союзники подвергли Берлин, он возвратился туда с опозданием и о попытке покушения на Гитлера узнал лишь спустя несколько дней. В Потсдаме, где он был прикомандирован к генеральному штабу, Джонни нашел на своем письменном столе записку, что генерал Штауфенберг звонил ему пять раз. Это было в день неудачного покушения на Гитлера.

По словам самого Джонни, это был единственный раз, когда его нервы сдали. У него подкосились ноги и, потеряв сознание, он свалился на пол. Ведь если бы гестаповцы вошли в его кабинет и обнаружили эту записку, он был бы немедленно схвачен и казнен.

После войны Джонни вернулся на дипломатическую работу, став первым послом Западной Германии в Лондоне. Это была трудная миссия, но Джонни Герварт справился с ней блестяще.

Перевод с английского Раисы Монас

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГЕРОЯХ ЭТОГО ЭССЕ

Весной 1970 года мне довелось встретиться с Чарльзом Боленом на семинаре в Колумбийском университете, где он выступал по приглашению профессора Бжезинского. На этот семинар, посвященный взглядам радикальных западных историков на истоки холодной войны, съехались многие дипломаты, политические деятели, присутствовал даже секретарь американской компартии Эрел Бауер.

Выступление Болена и его ответы на вопросы свидетельствовали о том, насколько блестяще он знал московскую политическую кухню, нравы и воззрения советских вождей. Свою речь он пересыпал русскими пословицами, ссылками на русскую литературу, словом, ни для кого из нас не составляло труда разглядеть в этом блестящем дипломате подлинного знатока русской жизни.

Кем же был Чарльз Болен и каким образом этот американец так хорошо почувствовал Россию, вплоть до "запаха ее махорки", как он озаглавил первую главу своей книги "Свидетель истории"?

На дипломатическом поприще он оказался скорее волей случая — в 1928 году. Окончив Гарвард и владея в совершенстве французским, он, однако, не последовал примеру многих своих друзей, которых увлекла карьера финансиста. Болен не пошел служить в банк, а ушел в море и, став рядовым матросом, решил объехать весь мир.

Годом позже, случайно узнав, что сотрудникам Госдепартамента платят твердые оклады (этот закон был принят лишь в 1924 году), он перешел на дипломатическую службу и оказался в первой шестерке дипломатов, решивших посвятить себя изучению СССР. Кстати, вместе с ним в Москве начал свою карьеру и другой известный специалист по Советскому Союзу — Джордж Кенан.

Начиная с 1934 года (когда открылось американское посольство в Москве) и на протяжении всей своей дипломатической карьеры Болен связан с развитием американо-советских отношений: он участвует в Тегеранской, Ялтинской, Потсдамской конференциях, — где ему приходится постоянно общаться с Рузвельтом, Черчиллем, Сталиным, Молотовым. После войны Болен пишет знаменитую Гарвардскую речь для тогдашнего государственного секретаря США Маршалла. Ее тезисы легли в основу знаменитого плана Маршалла, во многом определившего послевоенную политику США по отношению к Западной Европе.

С марта 1953 по май 1957 года Болен был американским послом в Москве. Он стал очевидцем знаменитой хрущевской "оттепели", а позже свидетелем Венгерских событий и Суецкого кризиса, приведшего к военному конфликту на Ближнем Востоке. Последний раз Чарльз Болен приехал в Москву в 1968 году (уже будучи заместителем государственного секретаря США) на открытие прямой авиалинии Москва—Нью-Йорк. Можно сказать, что это было своего рода символическое событие, ведь именно Болен в 1934 году вместе с Буллитом открывал американское посольство в Москве.

Теперь несколько слов о Джонни Герварте, или, как его еще называют "легендарном Джонни", который в 1981 году издал свои собственные мемуары. Судя по ним, Чарльз Болен был не всегда точен в своем описании событий 1939 года. Так, по словам самого Джонни, о предстоящем подписании Советско-германского пакта он информировал не только Болена, но и английского, французского и итальянского

дипломатов. При атом депеши итальянского дипломата не были засекречены. О них было известно многим сотрудникам Министерства иностранных дел в Риме. И вскоре в ход событий вмешался сам Муссолини. Получив информацию о предстоящей сделке от своего министра иностранных дел Чиано (он же был зятем Муссолини), дуче пригласил к себе немецкого посла и стал его поучать, как надо торговать с Советами. Достаточно было, по словам Муссолини, предложить им одно прибалтийское государство, а не все три...

Немецкий посол был в шоке. Он-то ведь и понятия не имел о секретных московских переговорах. Обеспокоенный утечкой информации Риббентроп попросил Шуленбурга срочно разыскать "источник" и, в конце концов, это задание было возложено... на Джонни.

10 января 1940 года Джонни Герварт случайно встретился с Боленом в Берлине. Через Голландию и Бельгию Чарльз "пробирался" с беременной женой домой в США. Джонни сообщает Болену, что его дивизия получила приказ начать 13 января 1940 года оккупацию этих стран и посоветовал своему старому другу немедленно уехать. Чарльз благополучно добрался до Брюсселя. Однако нападение на Бельгию и Голландию немецкое командование отложило, хотя из документов известно, что первоначальной датой "Желтой операции" было именно 13 января.

И, наконец, еще один герой этого повествования, граф фон Шуленбург. Из мемуаров Джонни мы узнаем о неизменно дружеском отношении к нему посла Шуленбурга, хотя Джонни и был последним "неарийцем" в немецком МИДе. Вообще же Шуленбург являл собой образ классического романтика XIX столетия. Годами он разыскивал по всей Европе замок, где хотел обосноваться, хотя и был холостяком. В своем завещании он просил его похоронить в парадном костюме, со шпорами и мечом, как и следовало, по его мнению, быть похороненным гвардейцу Первого полевого Артиллерийского полка, в котором он состоял на службе. При этом Шуленбург просил вернуть его тело в антикварный кавказский ковер. Но, как мы знаем, этому уже не суждено было свершиться. Граф Шуленбург был участником заговора против Гитлера. За участие в нем он был повешен, труп его был сожжен, а прах развеян по ветру.

Илья ЛЕВКОВ



Леонид ШАМКОВИЧ

ЭССЕ О ШАХМАТНОЙ ЭЛИТЕ

БОНДАРЕВСКИЙ

Свою карьеру Игорь Бондаревский начал блистательной победой, которую одержал в 1940 году. Он сделался одновременно чемпионом Союза и гроссмейстером СССР. Болельщики Бондаревского ликовали на улицах Ростова-на-Дону, где он жил. В это трудно поверить, но его портреты появлялись рядом с портретами "отца народов". В ходе турнира он выиграл личную встречу у самого Ботвинника, овеянного в те годы легендарной славой. Но это ликование не было продолжительным: из Комитета по делам физкультуры прибыла телеграмма, предлагавшая молодому чемпиону играть теперь в специальном матч-турнире на абсолютное первенство страны с участием Лилиенталя, Кереса, Болеславского и Ботвинника.

Многие из друзей Бондаревского недоумевали: что, вообще говоря, это значит: абсолютное первенство? Шахматы — ведь не бокс. "Неважно, — самоуверенно отвечал Бондаревский,

— Ботвинник жаждет реванша и он получит его". Это было и на самом деле беспрецедентное соревнование, цель которого состояла в том, чтобы исправить неожиданный итог чемпионата. И он был исправлен благодаря адской трудоспособности и воле Ботвинника, выигравшего турнир с перевесом в два с половиной очка.

Победа сорокового года была звездным часом Бондаревского, чья фигура и по сей день стоит особняком на советском шахматном небосклоне.

Он был потомственный казак и даже чем-то был похож на Григория Мелехова. И, хотя окончив Инженерно-экономический институт, выбился в интеллигенцию и стал одним из самых выдающихся шахматистов, своих казацких, мелеховских черт так и не утратил до конца жизни. Вот уж кого нельзя было назвать ни Бахом, ни Шопеном, ни даже Гершвином советских шахмат.

У него был тонкий и блестящий шахматный ум. Но в памяти у меня "Бондарь" сохранился грубым, бравурным, поражающим своим жизнелюбием. Своей неприкрытой грубостью он просто шокировал многих из шахматистов, считавших себя рафинированными интеллигентами.

В Ростовском Доме пионеров он нередко покрикивал на своих учеников. В то же время он их любил и считался превосходным методистом.

Бондаревский был единственным, кто пытался создать нечто вроде собственной школы. Имел ли когда-нибудь учеников Ботвинник? Никогда. То же самое и Смыслов, и Таль. Это им было просто неинтересно.

У Бондаревского была своя собственная методика и своя программа шахматных занятий. Все это, впрочем, не мешало ему быть человеком, скупаемым честолюбием, особенно подогретым победой 1940 года. И поскольку на его шахматном пути постоянно встречались евреи, притом совершенно блистательные таланты, он порой с трудом скрывал свою неприязнь к ним. Среди шахматистов упорно ходили слухи, что Бондаревский антисемит. И то, что он происходил из донских казаков, лишь подогревало эти слухи.

С другой стороны, и к советской власти он относился без

особой нежности. И когда началась война и немцы вошли в Ростов-на-Дону, Бондаревский решил остаться. Впрочем, пробыли немцы в Ростове всего неделю, но ее было достаточно, чтобы понять, что с Германией ему не по пути. Позже выяснилось, что за эту неделю он сумел сыграть матч с румынским мастером Троянеску. Но сам он бедствовал. Немцы на него не обращали ни малейшего внимания — подумаешь, какой-то русский гроссмейстер.

Вскоре после окончания войны я встретил его в Ленинграде, где учился в Политехническом институте. Это был уже не тот бесконечно уверенный в себе шахматист, о котором некогда писали "надежда советских шахмат". Игра его стала суховатой, почти ничего не осталось в ней от прежних блеска и фантазии. Правда, пресса иногда подхваливала его ("Гроссмейстер Игорь Бондаревский во фланг врубился королевский", — изрек "поэт" после одной из его красивых побед).

Но довольно скоро он сам понял, что уже не вернет своей былой силы и славы и полностью занялся тренерской работой. И тут я хочу сказать, что на этом поприще он себя очень здорово проявил. Именно в это время он сошелся со Спасским и фактически сделал его чемпионом мира. Прежде всего благодаря тому, что он заставил его работать.

Дело в том, что по самому своему складу Спасский — лентяй и, конечно, человек богемный. При всем своем блестящем таланте он был абсолютно не способен сам работать над шахматами. Смыслов тоже не был образцом трудоспособности, но он мог работать, если хотел, а этот даже не мог, у него просто не было такой закваски. По складу он был сибарит, любил порисоваться. Но все это не помешало ему подружиться с Бондаревским. Правда, Бондаревскому потребовалось немало усилий, чтобы убедить Спасского в необходимости работать. Причем по определенной системе. Спасский стал неузнаваем. Он стал строже играть дебюты, стал более классическим игроком. Это был редкий случай, когда тренер его выпестовал в готового художника.

Кстати, в истории отношений Спасского и Бондаревского

был случай, когда так называемая советская общественность пыталась вмешаться в шахматную жизнь и шахматная элита проявила высокую солидарность, отстаивая принципы честной, профессиональной игры. Для того чтобы быть допущенным к межзональной игре, Спасский должен был выиграть в турнире на первенство Советского Союза. Всего в этом турнире участвовали трое: Спасский, Холмов и Леонид Штейн. Холмов был алкоголик и на него вряд ли кто-то серьезно рассчитывал, но зато в поединке Штейн—Спасский, симпатии общественности были полностью на стороне Спасского, хотя Леонид Штейн при всей своей непутевости был ничуть не менее талантлив, чем он, и как шахматист даже шире. Словом, в поединке Спасский—Штейн победу одержал Штейн. Но через некоторое время в одной из газет, по-моему в "Вечерке", появилось письмо группы писателей, подписанное, в частности, неким Сафоновым. В письме говорилось, что вот мы, любители шахмат, постоянно собираемся в ЦДЛ и что мы очень любим творчество и игру Бориса Спасского и были крайне огорчены, когда первенство Союза и право участвовать в межзональном турнире получил другой шахматист Леонид Штейн. Мы считаем, что этот результат должен быть исправлен. Спасский должен защищать нашу честь!"

Помню, после этого Корчной собрал пресс-конференцию, было составлено возмущенное письмо, и этот дурак Сафонов ходил извинялся, но я бы хотел подчеркнуть, что в этом возмущении профессионалов против вмешательства любителей, шахматисты были абсолютно единодушны. И Игорь Бондаревский, который, может быть, более других был огорчен проигрышем Спасского, был полностью солидарен со всеми. Говорят, что прочитав в газете "Письмо Сафонова и его товарищей", он в сердцах воскликнул: "Ну что за дурак!"

Естественно, когда Спасский стал чемпионом мира, Бондаревский вновь был на коне, но потом между ними пробежала какая-то черная кошка, и они разошлись.

Я как-то встретил "Бондаря" — как его называли — и спросил, что произошло. Он был страшно расстроен и пробормотал что-то невнятное: "Да я и сам не знаю, что произош-

ло". Для него Спасский был, как говорится, последней опорой в жизни.

К этому времени он был уже болен, много курил и начал пить. Выпивал он, правда, давно, еще когда они были дружны со Спасским, а после их ссоры у него начались запои.

Однажды — опять же незадолго до их разрыва — я встретил Бондаревского и Спасского в одном из ресторанов. Это было как раз накануне матча Фишера с Петросяном. Оба были навеселе, и оба буквально пристали с одним и тем же вопросом: "Ну, Александрович, — так они меня называли, — сколько вы даете Петросяну очков? Максимум?" Я говорю: "Максимум три очка". — "Отлично! Предлагаю от пятисот до тысячи пятисот, что вы проиграете", — протянул руку Спасский.

Прошло некоторое время и выяснилось, что Петросян набрал два с половиной очка. И вот мы как-то встретились со Спасским в Центральном шахматном клубе, и он говорит: "Послушайте, Александрович, ведь я же проиграл вам пари. Так вот, я готов немедленно вернуть вам этот долг. Как вы хотите: шампанским, деньгами или еще как-то?"

От шампанского я отказался — пить, как Спасский и Бондаревский, я просто не умел. И он тут же вернул мне долг деньгами.

Что касается их ссоры, то тут ходили разные слухи. Некоторые считали, что это произошло после того, как Фишер выиграл у Спасского, — и последний обвинял своего тренера, что тот плохо его подготовил. Другие говорили, что все произошло из-за грубости Бондаревского. Тот часто покрикивал на Спасского, Спасский же обычно отвечал: "Папа, успокойся!" Но, может быть, в какой-то момент терпению Спасского пришел конец?

После ссоры со Спасским Бондаревский окончательно поселился на Северном Кавказе и единственно, кого он продолжал тренировать, была его жена Валя Козловская, милая простоватая женщина, боготворившая его. Потому что это все-таки был необычный человек. Но он и с нею был груб. Я сам был свидетелем, как однажды, после того как она проиграла партию, он на нее кричал: "Опять ты, дура, допустила ошиб-

ку, я же тебе говорил, что надо играть так, а не эдак". Она ужасно переживала, но это ничего не меняло.

Будучи ее тренером, он ездил с ней на всякие турниры, и они неоднократно вместе бывали за границей, хотя биография была у него и подмочена. Но один раз его назначили тренером Козловской на очень ответственный межзональный женский турнир, где-то в Югославии. Повторяю, это была очень престижная поездка. А в комитете физкультуры был такой порядок: вот, например, человек был включен в состав делегации и, скажем, назавтра в пять часов отлетал самолет. Ему говорили: "Приходите завтра в два, получите документы и от нас сразу же в аэропорт".

Бондаревским сказали то же самое. Я был в тот день в комитете физкультуры и видел, как они сидели и дожидались вызова в спецотдел. Вышли они оттуда совершенно рестерянные, особенно Валя — бледная как смерть. Оказывается, документы оформили только ей, а Бондаревскому нет. Валя плакала. Бондаревский же едва слышно проговорил: "Пошли".

Потом мне сказали, что то, что Бондаревскому не оформили документы на этот турнир, было известно заранее, но сообщать об этом полагалось только перед самым отлетом. Таков уж был этот садистский порядок.

После этого случая Бондаревский уже никуда не ездил. Он, что называется, стал невыездным.

Последние годы жизни он страшно пил, жил на жалкую стипендию и был совершенно забыт. Умер он в полной неизвестности.

БРОНШТЕЙН

Давида Бронштейна — или, как друзья зовут его Дэвик, — я знаю очень давно, буквально с сорок второго года. Мы с ним сверстники, и, может быть, поэтому мне о нем легко говорить.

Впервые я увидел его в Тбилиси, куда во время войны

эвакуировалась наша семья и куда в совершенно кошмарном виде приехал из Киева восемнадцатилетний Дэвик Бронштейн.

Из Киева он бежал, абсолютно один. Родился он не в Киеве, а в Белой Церкви. Его родители исчезли еще в тридцать седьмом году, во время сталинских чисток. И Дэвик очень рано остался сиротой. Так вот, в ужасном виде, всеми брошенный, он и появился во время войны в Тбилиси. Его пристроили сторожем в какой-то бассейн, и целыми днями он просиживал на берегу с шахматными книгами и что-то упорно изучал.

Познакомились мы с ним после того, как грузины устроили чемпионат города. Ну и, естественно, пригласили Дэвика, который к тому времени уже имел звание мастера. Это был самый молодой мастер Советского Союза. Бронштейн стал им в возрасте шестнадцати лет.

В первом же туре я обратил на него внимание — знаете, такое круглое, доброе лицо местечкового юноши. Впрочем, привлекал он даже не обликом, нет — а своими чудачествами, вне которых и позже невозможно было представить образ и характер Бронштейна. Это был великий шахматист и великий чудак. Он был полон старинной шахматной информации, никогда не выпускал из рук шахматный "хандбук", изданный немцами чуть ли не в конце прошлого века.

Между прочим, в том тбилисском турнире первую партию мне удалось у него выиграть. После этого он одержал сразу шесть побед. Я сделал две ничьих. В общем мы имели с ним поровну. Но, когда грузины почувствовали, что вопрос о чемпионе Тбилиси мы будем решать с Дэвиком между собой, они объявили, что турнир прекращается из-за отсутствия... помещения.

В общей сложности я пробыл в Тбилиси два года, учился в институте, а во дворце пионеров — бывшем доме князя Воронцова — как ни в чем не бывало, продолжал работать шахматный кружок. И вот однажды, во время сеанса, который я давал школьникам, руководитель кружка, мастер Благодзе, сказал мне: "Ты обрати внимание вон на того армянчика, ко-



Давид Бронштейн

торый сидит справа. Прекрасно играет, хотя ему только двенадцать лет..." Позже я узнал, что это был Тигран Петросян. Спустя много лет я спросил его: "Ты помнишь эту встречу?" Он ответил: "Я не только помню эту встречу, но даже помню, какую партию мы играли". — "И кто же выиграл?" — "А вот ты выиграл у меня тогда!" — засмеялся он.

К Петросяну мы еще вернемся, а пока о Бронштейне, с которым после того тбилисского турнира мы не очень часто встречались. Дэвик уехал в Сталинград, куда его пригласили. Кончилась война. Он переехал в Москву. И началось его блестящее восхождение. За короткое время он вознесся, как метеор, стал выигрывать турнир за турниром и очень скоро стал шахматистом мирового класса. И главное — всех потрясал стиль его побед, оригинальность его шахматного мышления. В 1951 году он встретился с Ботвинником в первом послевоенном матче на звание чемпиона мира. Право играть в этом матче он завоевал в результате серии совершенно блистательных побед. Это были годы, когда он был фактически чемпионом мира. В турнире претендентов он разделил первое место с Исааком Болеславским, который как шахматист мне нравился даже больше, чем Бронштейн. Это был абсолютно законченный классик шахмат, а Давид был, скорее, сюрреалистом. При этом они были очень близкими друзьями, и состоявшийся между ними матч, закончившийся победой Бронштейна, нисколько не повлиял на эту дружбу. Они постоянно подтрунивали друг над другом, но от этого ничуть не менее любили друг друга.

Помню, как во время матча Бронштейн—Ботвинник я зашел в гостиницу "Пекин" к Давиду. В номере у него находился Болеславский, которого я спросил: "Исаак Ефремович, ну, каковы все-таки ваши шансы, чтобы бороться за мировое первенство?" (Несмотря на то, что он проиграл Бронштейну, я продолжал его боготворить.) Болеславский промолчал, а Бронштейн засмеялся и сказал, что никаких шансов на мировое первенство у него нет. Я спросил: "Почему?" — "Да потому, — продолжал Бронштейн, — что у него животик уже появился!" И похлопал Болеславского по животу. Вот какие

отношения: каждый шутил, как ему вздумается, и никто ни на кого не обижался.

Что более всего поражало в облике Бронштейна — так это добродушие и как раз то самое чудачество, о котором я уже говорил. В его характере полностью отсутствовал "инстинкт убийцы".

Считается, что настоящий шахматист должен обязательно обладать качествами борца, страстным желанием уничтожить противника. Это обычно проявляется в его манере себя вести, в поведении за шахматной доской, даже в его облике. Вот это журналисты и называли образно "инстинктом убийцы". Этот "инстинкт" в высшей степени был развит у Ботвинника, Фишера, — да, собственно, у очень многих шахматистов. Но полностью отсутствовал у Давида Бронштейна. Внешне это был явно местечковый еврей, немного не от мира сего, странно одевавшийся. И, глядя на него, нельзя было подумать, что перед вами великий шахматный боец, который задумал стать чемпионом мира. Но ему не суждено было им стать, хотя я затрудняюсь назвать кого-то еще, кто был в то время так близок к шахматной короне в борьбе с непобедимым Ботвинником.

В своей игре Бронштейн безусловно показал, что к тому времени, то есть к 1951 году, он стал лучшим шахматистом мира. Формально чемпионом был Ботвинник, но к тому времени он уже немного сдал, хотя и успешно оборонялся от атакующих его претендентов. Самым сильным из них и самым опасным для Ботвинника стал Давид Бронштейн. И вот — Ботвинник явно проигрывал Бронштейну этот матч, состоявшийся из 24-х партий. На финише у Бронштейна было на одно очко больше, и его вполне устраивали две ничьи. Друзья уже приходили, чтобы поздравить его. Казалось, что дни Ботвинника как чемпиона сочтены.

Предпоследнюю, двадцать третью партию Ботвинник отложил в несколько лучшем эндшпиле. Он отлично понимал, что молодой Бронштейн не имеет такого опыта в окончаниях, как он. И Ботвинник постепенно, ход за ходом, выигрывает этот эндшпиль, потом сводит вничью последнюю встречу. Счет поединка становится 12:12. А по регламенту,

в случае ничейного результата, чемпион мира сохраняет свое звание.

Этот неожиданный финиш произвел на Бронштейна страшное впечатление. Ботвинник его как бы убил этой партией навеки. То есть после этого он уже не мог всерьез бороться за звание чемпиона мира. В какой-то степени вообще была сломлена его воля к борьбе.

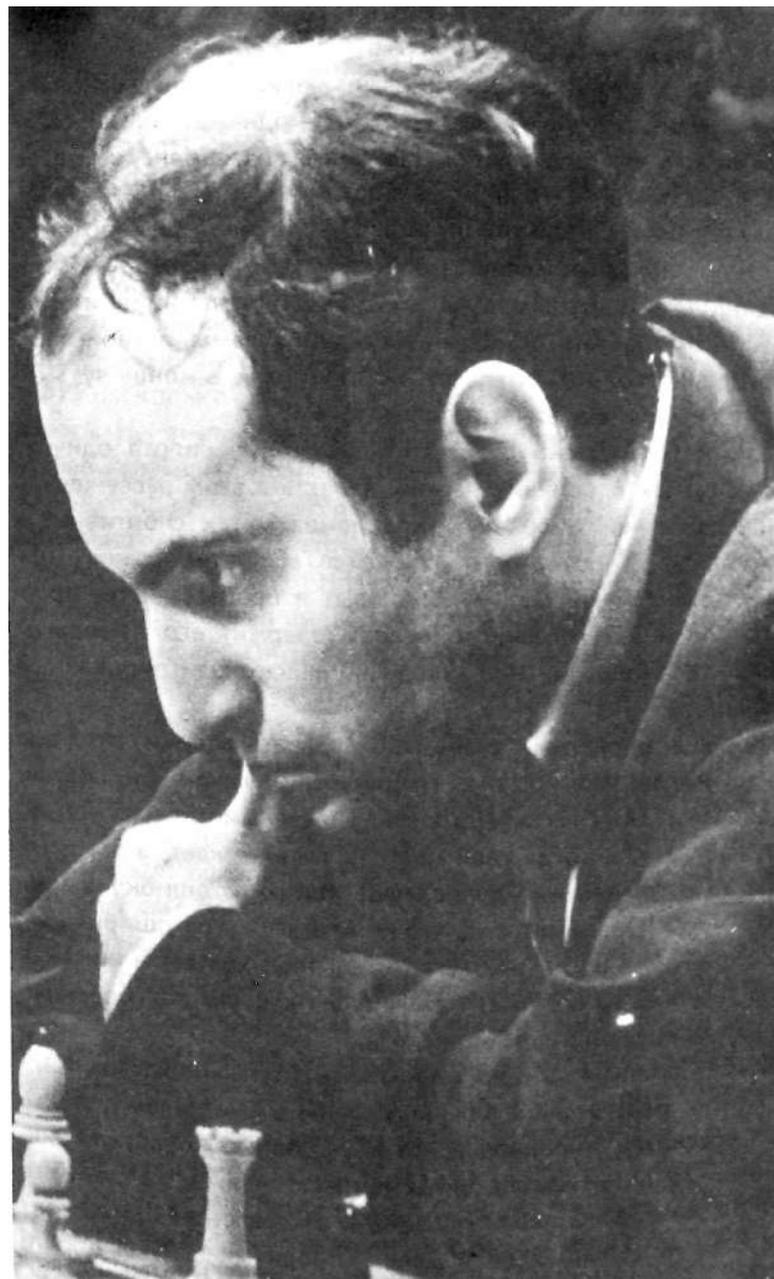
Всякий раз после этого, когда я встречал Бронштейна, он уже не говорил о мировом первенстве, а все больше о шахматных реформах.

Это был неистовый шахматный реформатор. Например, он долгие годы носился с идеей поменять местами ферзя и короля, изменить регламент шахматных поединков, превратить их в своеобразные полублицы. Он говорил, что в эпоху столь динамичного века, как двадцатый, и шахматы должны стать иными, более динамичными.

Впрочем, его реформаторские идеи никогда не выходили за границы шахмат. В политике он был очень осторожен и уж во всяком случае никакой крамолы не высказывал, помня судьбу своих родителей. Хотя и в этой области он часто бывал неожидан и даже остроумен.

Над реформаторскими идеями Бронштейна его друзья вечно подсмеивались. Но это не укрощало его реформаторский дух. Будучи шахматным обозревателем "Известий" и оседлав своего любимого конька, он однажды написал: "Как неплохо было бы поменять местами ферзя и короля!" В ответ на это желчный Михаил Юдович где-то в другой газете ответил: "Ну, право же, какой смысл в этой реформе? Ведь шахматы — наши классические шахматы — достаточно сложны, и никто в них не достиг совершенства, в том числе и Давид Бронштейн!" Бронштейна это почему-то обидело, и, когда однажды мы встретились, он с досадой сказал: "Странный человек, этот Юдович! Я же не для него писал, а для любителей, чтобы заинтересовать их, привлечь к шахматам..."

Надо заметить, что были в его характере странные черты. Он не производил впечатление честолюбца, но становился совершенно нетерпим, когда при нем кого-то хвалили.



Михаил Таль

Как-то я спросил его: "Как ты думаешь, правда, Фишер гениально играет в эндшпилях?" Он странно улыбнулся и ответил: "А ты думаешь, я хуже играю?"

В наших с ним беседах он очень любил философствовать. "Ты знаешь, о чем я все чаще думаю? — однажды сказал он, — что штанга как вид спорта куда более объективна, чем шахматы. Шахматы — это не объективный вид спорта!" — "А почему, Дэвик, собственно, штанга?" — удивился я. "А вот я тебе сейчас объясню. Представь, что мы с тобой соревнуемся. Я поднял сто килограмм, а ты — сто десять, и нет никаких споров! А тут можно поднять двести килограмм, а твой партнер поднял только пятьдесят, но стоит тебе в конце чуть оступить, и он объявляется победителем".

Это было сказано после того, как он проиграл одну из своих самых блестящих партий. То есть в этом рассуждении была довольно глубокая мысль: в шахматах спортивная и творческая сторона часто находятся в противоречии. Поэтому талантливый шахматист может в процессе игры проявить подлинный блеск, но победу одержит его отнюдь не столь талантливый, но холодный и сконцентрированный партнер.

Вообще Бронштейн очень любил давать оценки, которые были всегда неожиданны. Например, однажды он сказал: "Ты знаешь, как играет Петросян? Он очень интересно играет. Он ждет. Ну, а когда твой партнер только ждет, а ты играешь, то ты неизбежно допускаешь какую-то ошибку в процессе игры. Он делает вид, что не замечает этой ошибки. Ты делаешь еще одну. И вот тогда-то он тебя хватает и никакая сила тебе уже не поможет". Нужно сказать, что это совершенно точная оценка стиля Петросяна.

Наблюдательность Бронштейна меня всегда поражала. Как-то Котов, Бронштейн и я были посланы в Амстердам для участия в одном из турниров. И вот мы с Дэвиком обратили внимание, что днем Котова нигде не было — ни в холле, ни в буфете, ни вообще поблизости. Куда он девается? Где Котов? Прошло несколько дней и Давид говорит мне: "Ты обрати внимание, утром Котов, взяв в руки старый потертый чемоданчик и надев на голову кепку, срочно куда-то отправляет-

ся. Причем ты знаешь, на кого он похож в этот момент? На Жана Габена! И ты знаешь, куда он отправляется? Он идет в советское посольство, где все можно дешево купить!" Сам Бронштейн был полным бессребреником — для него не существовало мира вещей, перед которым некоторые так преклонялись.

Что касается его политического кредо, то, как я уже говорил, он никогда не позволял себе вольностей. "Мы живем в их стране, — однажды разговорился он, — так чего ради мы будем роптать!" Мне казалось, что это и есть его сущность — робкого, провинциального чудака, неспособного ни на какой решительный шаг. Только много позже я понял, как ошибался. И насколько не знал его — он просто не любил фронтировать. Но внутренне это был глубоко честный и, я бы даже сказал, сильный человек. Когда надо было подписать антикорчновское письмо, то отказались это сделать только двое — Ботвинник и Бронштейн. Ботвиннику с его именем ничего серьезного не грозило. Но Бронштейн пошел на этот мужественный шаг, рискуя лишиться всего — стипендии, права быть выездным и т.д. Он очень во многом зависел от властей. И, несмотря на это, внутренняя честность не позволила ему пойти на сделку с совестью. Кстати, после этого письма он действительно стал невыездным.

И вот теперь, когда спустя годы я оцениваю роль Бронштейна в истории мировых шахмат, то я все чаще думаю — кем он был: блестящим практиком или великим шахматным мыслителем?

Однажды, помню, мы вместе ехали в поезде и разговорились о прошлом. Ну и, естественно, вспомнили его знаменитый матч с Ботвинником, когда он так неожиданно и драматически проиграл. И тут он, к моему удивлению, заметил: "А ты думаешь, я тот матч хотел выиграть? Я и не собирался его выигрывать! Ты же сам видишь, что это за счастье быть чемпионом."

Я до сих пор не знаю, что это было: все еще живущая в нем обида, бравада или сожаление о том, что свой блестящий талант он не развил в совершенно ином, философском направлении.

ПЕТРОСЯН

Если Бронштейн был шахматным философом, то Петросян — типичный практик. О практическом складе его ума говорили много. Даже слишком много. Но вот человек стал чемпионом мира. Значит, это был не просто хитрец, который обыгрывал в результате каких-то очень ловких и хитроумных комбинаций,

Я знаю его с детства — когда впервые встретил его в Тбилисском Доме пионеров. Кто такой Петросян? Это прежде всего классический тип самородка, у которого так много от Бога, что просто смешно объяснять его блистательный путь с помощью какой-то тривиальной хитрости.

Он вырос в семье дворника. Да, да, его отец был дворником в одном из домов Тбилиси. Своим талантом Тигран довольно быстро обратил на себя внимание тбилисских шахматистов. Он был шахматный вундеркинд. Причем с ранней юности не признавал атакующего стиля, которым так увлекались многие из его сверстников. Но кто знает — возможно, в этом непревзойденном позиционном мастерстве и заключалась его мощь, приведшая его на шахматный Олимп.

Его позиционная игра отличалась непревзойденным изяществом. Этот блеск позиционного маневрирования невозможно было достичь никакой практикой или работой. Это был Божий дар. Но, с другой стороны, Петросян действительно отличался необычайным практицизмом. Прежде всего, это был практицизм шахматный. Он был очень тонким психологом, ибо всегда знал, как и с кем надо играть, когда и какой избрать вариант. Его уникальнейший выжидательный стиль носил, с моей точки зрения, философскую подоплеку. Он был нильским крокодилом, способным, притаившись, сколь угодно долго ждать свою жертву. Ждать, пока она не поскользнется и он не сможет с ней разделаться.

Вспоминая о Петросяне, я бы хотел подчеркнуть, что в памяти моей его личность как бы двоится. Один Петросян — это блестящий, светский человек, очень остроумный, веселый и широкий. Другой — уже более позднего возраста, когда он



Тигран Петросян

стал чемпионом мира — человек чрезвычайно пристрастный к роскоши, баловень судьбы, который, кстати, на долгие годы оказался под влиянием жены. И она влияла на него не лучшим образом. Но, повторяю, это произошло позже, а в молодости Петросян был очень общительным, пользовался всеобщей симпатией. Это был человек насмешливого и острого ума.

Однажды я стал свидетелем такой сцены. Мы рассматривали какую-то позицию во время чемпионата Союза. Тигран тоже рассматривал, все молчали, потом кто-то спросил: "А что грозит?" — обычный и не очень умный вопрос, который любят задавать друг другу шахматисты. На что Тигран неожиданно повернулся к спросившему и, иронически усмехнувшись, сказал: "Милый мой, если бы что-нибудь грозило, тогда бы черные знали, что им делать. Вот ничего не грозит, — в этом все дело!"

В реплике этой отразилось глубокое понимание философии шахмат. И в самом деле: иногда один ход, вроде бы не содержащий угрозы, сильнее, чем два или три активных, ибо этот "один" способен привести противника к поражению.

Талант Петросяна признавали все — и друзья и недруги. Никто не говорил, что он бездарь. Говорили иногда, что он скучен, неинтересен, но никто не оспаривал его дарования.

Впрочем, как у каждого из этой шахматной элиты, были у Петросяна и свои странности. Он терпеть не мог молодых шахматистов. Помню, как в 1979 году он приехал в Рио-де-Жанейро с двумя молодыми шахматистами — Ваганяном и Балашовым. Так вот, во время турнира Петросян ни больше ни меньше, как объявил, что эти двое специально подыгрывают его соперникам, чтобы он не вышел на хорошее место.

Но по-настоящему он изменился — притом к худшему — в 1964 году, когда, выиграв матч у Ботвинника, стал чемпионом мира.

В статье "Почему я проиграл матч?" Ботвинник тогда писал: "В шахматах время гениев прошло!" (Он явно не предвидел появления Бобби Фишера и Гарри Гаспарова.) "В наши дни одним талантом не проживешь", — утверждал Ботвинник. По его словам, у Петросяна был какой-то стран-

ный, защитительный стиль, который ему, Ботвиннику, был непонятен. В своей статье Ботвинник хотел показать, что Петросян — посредственность, что по таланту он не может и сравниться с ним, Ботвинником. Но прошли годы и тот же Ботвинник дал куда более высокую и справедливую оценку Петросяну, подчеркнув, что это действительно крупный шахматист.

Став чемпионом мира, Петросян изменил весь образ жизни. Его переменам к худшему, как я уже сказал, способствовала его чрезвычайно практичная супруга Рона. Она вместо него участвовала во всех переговорах, ввергала его в пучину всяких свар и склок, что, конечно, не способствовало росту его авторитета. По ее словам, это она сделала его чемпионом мира, так как он не хотел заниматься шахматами, а она настаивала, чтобы он приглашал таких-то и таких секундантов, чтобы они ему уделяли больше времени и т.д. Дело доходило до того, что он терял терпение: "Пожалуйста, играй сама! Почему бы тебе не стать чемпионкой мира! Что ты от меня хочешь?" — повысив голос, говорил он в такие минуты.

Она постоянно старалась разбудить в нем честолюбие, которого у него от природы не было. Но с годами оно появилось, как и страсть к роскоши. Появилось и какое-то озлобление против своих коллег. Казалось бы, его так приласкала шахматная фортуна, что он должен был стать добродушным. Но нет, никакого добродушия я в нем теперь не замечал. Напротив, появилась какая-то желчность и нетерпимость. Однажды я встретил его на улице, он обрадовался и сказал: "Хочешь, давай подъедем ко мне, посмотришь мои шахматные книги".

Когда я вошел в его обитель, то был потрясен. Эта квартира на Пятницкой — площадью около ста двадцати метров — принадлежала раньше какому-то академику, и теперь ее дали Петросяну. Поражала совершенно потрясающая антикварная мебель. Огромное количество сувениров со всех стран мира. Множество подарков от армян из Армении. Армяне его боготворили, они готовы были сделать для него все что угодно. Это они сделали ему диплом о высшем образовании, которого у него не было. В нем появились не свойственные ему раньше мещанские черты. Надо сказать, что его постоянно

приглашал к себе Микоян, он часто бывал у Микояна в домашнем кинотеатре. Словом, Петросян — чемпион мира — стал совершенно иным человеком.

В гостях у Тиграна мы были вместе с Котовым. И вот, когда мы вышли, я говорю Котову: "Интересно, как ему удалось обменять 32-метровую квартирку на такой дворец?" На что Котов — человек, не лишенный природного, хотя и грубоватого юмора, — ответил: "Послушайте, мой дорогой, Тигран умеет менять только слонов на коней на шахматной доске, все остальное меняет его жена!"

Да, именно она была главным менеджером Петросяна, и все деловые вопросы решала она, Рона, а не он. И она, что называется, и днем и ночью, действовала во имя того, чтобы поднять престиж и богатство мужа. У Петросяна был даже личный адъютант и летописец — Александр Рошаль, который затем переметнулся к Карпову и который в "Советском спорте" называл его не иначе, как царственный Тигран. "И тут появился царственный Тигран..."

У него был действительно царственный вид, когда он появлялся в обществе в роскошной бархатной куртке... В каком-то смысле он был полной противоположностью Бронштейну, да и вообще многим шахматистам. В большинстве это были люди бескорыстные, бессребреники — кого бы мы ни взяли — Ботвинника, Смыслова, Таля. Тигран — единственный, кто окружал себя богатством и роскошью. После потери звания чемпиона мира, Петросян становился все более желчным. Сейчас он тяжело болен.

И все-таки запомнился мне больше другой Петросян — блестящий человек и великий шахматист, чьи заслуги в истории мировой шахматной культуры поистине неопределимы.

ФИШЕР

Роберт Джеймс Фишер — наиболее загадочная и парадоксальная фигура современных шахмат. О нем очень много писали, и я бы лишь в двух словах хотел напомнить его биографию.

Редакция включила в очерк и портрет Роберта Фишера — выдающегося шахматиста современности, с которым не раз встречались советские шахматисты.

Родился Фишер в 43-ем году в Чикаго. Потом перебрался с матерью в Нью-Йорк, в Бруклин, и здесь начались его первые большие успехи. Отец его — немец, который бежал из гитлеровской Германии во время войны, — женился на чикагской еврейке, чрезвычайно экспансивной даме (она живет сейчас в Лондоне). В результате этого брака и появился на свет Бобби Фишер.

В четырнадцать лет он стал чемпионом Соединенных Штатов, и Советская шахматная федерация пригласила его погостить в Москву: всем хотелось познакомиться с этим феноменальным парнем. Я присутствовал на его встрече с московскими гроссмейстерами в Центральном шахматном клубе, когда он подряд, конвейерным способом играл блиц со всеми желающими. Мне удалось застать момент, когда он с блеском выиграл матч у Васюкова. Я увидел очень высокого американского отрока, светловолосого, с челкой, с серыми глазами. Удивила меня его неулыбчивость. Одет он был в джинсы и свитер. Под стать ему была и его сестра, экстравагантная девица, с которой он приехал в Москву.

Фишер попросил, чтобы ему дали сыграть короткий тренировочный матч с одним из известных гроссмейстеров. В Федерации это сочли за нахальство, и ему предложили какого-то второстепенного шахматиста. Фишер отказался, сказал, что ему надоела эта свинская страна и уехал. Уже тогда отношения между Фишером и Советской шахматной федерацией изрядно охладели.

Второй раз встретил я его уже будучи в эмиграции, в 76-м году, в Пасадине, где он жил, когда отошел от шахмат.

В чем же заключается сила и парадоксальность Фишера? Если можно так выразиться, — это в химически чистом виде шахматный боец, концентрация которого во время игры совершенно невероятна. Я вспоминаю характеристику, которую еще в 70-е годы дал ему Александр Котов. Как раз тогда Фишер одержал одну за другой блистательные победы: матч с Петросяном, затем с Таймановым и, наконец, с Ларсеном — с сухим счетом. Победив Спасского в Рейкьявике, он стал чемпионом мира. Это было что-то невиданное. Фишер явно не

довольствовался просто победой. Ему надо было разгромить противника наголову. Люди, знавшие его, рассказывали, что, когда он играл в настольный теннис или во что-нибудь еще, то стремился во что бы то ни стало выиграть, и если проигрывал, то ходил буквально больной.

Так вот, Александр Котов, с которым я тогда был в одном шахматном клубе, говорил; "Ну, сами посудите: как можно с таким парнем играть? Совершенно невозможно!" — "Как это невозможно? Почему?" — спрашивал я. "Да очень просто, представьте себе, что напротив вас сидит здоровенный детина с лошадиной физиономией. Он сидит и сосредоточенно думает. Думает недолго. И молниеносно делает ход. Вы ломаете голову над тем, что предпринять в ответ. И придумываете, надеясь, что партнер даст вам возможность погулять, размяться немного. Но не тут-то было. Почти мгновенно он находит еще один, теперь уже самый неприятный для вас ход. И тут же шлепает, причем не вставая со стула. Он сидит как бы у вас на плечах, и через некоторое время вы чувствуете, что ничто вам уже не поможет. Это не человек, это автомат!"

Многие изображают Фишера как недоучку, мальчишку, который бросил в четырнадцатилетнем возрасте школу, — эдаким недоразвитым, инфантильным недорослем, который ничем, кроме шахмат, не интересовался. Он и в самом деле ничем иным не интересовался.

Однако образование — образованием, но лично для меня куда интереснее, что дал Бог шахматисту в смысле его дара психолога, его способности оценивать партнера и ситуацию, его умения мыслить. Я не помню ни одной данной Фишером оценки, которая была бы ошибочной.

Его искусство психолога поразительно. Он готовился к матчу со Спасским без всяких помощников, в то время как у Спасского их было не менее пяти. И психологически он оказался во много раз лучше подготовлен, чем его противник, хотя на стороне Спасского сражалась едва ли не вся Советская шахматная федерация.

А что представляет собой Фишер как человек? Наиболее парадоксальными и странными стали его поступки после того,



Роберт Фишер

как в 75-м году от отказался от мирового чемпионата. Впрочем, странным его поведение было и до этого: он явно боялся публики, смертельно боялся журналистов. Он все чаще отказывался играть в турнирах. Однажды на матч с Решевским он явился за пять минут перед тем, как ему едва не засчитали поражение. Но, появившись, молниеносно выиграл.

Когда Бобби отказался от мирового первенства, со всего мира посыпались запросы: чем он занимается, как существует? Известно было, что он отказался от всякого рода рекламы, которая сулила ему миллионы. Как он сам заявил, он не был готов рекламировать кремы для бритья, которые сам не применяет. Поэтому всякого рода слухи о его жадности и пристрастии к роскоши не имеют ни малейших оснований. Вместе с тем, он всегда требовал гигантских гонораров — мне кажется, в основном из соображений престижа, а не для того, чтобы заработать большие деньги.

Его много раз пытались привлечь к матчам, поскольку интерес к его игре огромен и по сей день. Мне рассказывал мастер Арнольд Денкер, как он взял на себя инициативу организовать встречу Фишера с Глигоричем в Югославии. Денкер спросил его: "Бобби, как ты смотришь, если тебе заплатят триста тысяч долларов только за то, что ты будешь участвовать в матче?" Фишер ответил: "Это будет отлично!" — "Отлично! — в свою очередь сказал Денкер. — Я еду в Югославию". Ему удалось уговорить югославов не на триста, а на шестьсот тысяч долларов. Вернулся он в прекрасном настроении. "Бобби! — сказал он, — все в порядке. Ты соглашался на триста тысяч, а я договорился о шестистах! Подписывай контракт и через месяц начнешь играть". Но Фишер ответил: "А как насчет миллиона?"

По словам Денкера, Фишер просто валяет дурака и играть не хочет. В последний момент он всякий раз придумывал самые фантастические отговорки, чтобы только не играть.

Он вступил в религиозную секту адвентистов седьмого дня, где повел войну с руководителями этой секты. Мне говорили, что в какой-то момент — на религиозной основе — он стал антисемитом и чуть ли не расклеивал антисемитские лозунги на бамперах автомашин.

Как я уже говорил, в 76-м году я встретил Фишера в Пасадине. Пасадина расположена в шестидесяти милях от Лос-Анджелеса. Живет Фишер довольно странно — в его квартире абсолютно нет мебели, а есть только холодильник, стул и кровать. Он не женат, почти ни с кем не общается, и телефон его не включен ни в один справочник. Впрочем, у него есть секретарша, фамилия которой Макарова — она русского происхождения. И если удастся с ней связаться, то можно для него передать какие-то предложения или просьбы — ни писать, ни звонить ему невозможно.

Встречу с ним мне устроил мой лос-анджелесский приятель Антони Сейди, который поддерживал с Бобби контакты. А остановился я у другого приятеля, тоже эмигранта из СССР.

В один из дней в его квартире раздается телефонный звонок: "Могу ли я поговорить с мистером Шамковичем?" Это был Фишер. Звонок его был настолько неожидан, что я подумал, что меня кто-то разыгрывает. "Если хотите, приходите в ресторан такой-то, но будет только Антони и больше никого".

Мы приехали в назначенное место, и я сразу узнал этого высокого, сероглазого блондина, похожего на альбиноса, — брови и ресницы у него совершенно бесцветны. Разговор на политические темы шел в основном между ним и Антони. Но я все-таки заговорил о шахматах.

Он отвечал любезно, хотя и не очень охотно. Чувствовалось, что это не очень приятная для него тема, на которую ему не хотелось бы беседовать. Тем не менее я задал ему такой вопрос: "Почему вы не играете? Вы же до сих пор остаетесь лучшим шахматистом мира?" Он улыбнулся и ответил: "Я крайне недоволен политикой американских президентов. Они слишком потакают Советам!" На это я пытался возразить: "Но ведь президенты меняются". — "Нет! — сказал он. — Они все одинаковы!" Я не понял, какая тут связь с шахматами и продолжал: "Но вы все же должны играть, Бобби!" — "Я буду играть, буду играть", — дважды повторил он. Затем я достал карманные шахматы и сказал: "Я хочу показать вам одну позицию, которую никто не может решить, очень забавный этюд". Он взял в руки шахматы, закрыл их огромной

ручищей, чтобы официанты или посетители не догадались, что в ресторане Фишер. Я уже пожалел, что все это затеял и сказал: "Вы знаете, это долгое и трудное дело — искать решение. Может быть, я его сам вам покажу?" — "Нет, нет, сэр!" — почти рассердился он и, погрузившись в размышления, через две-три минуты дал правильный ответ. "Как же так? — удивился я. — Никто не может этого решить!" — "Я знал эту идею!" — ответил он.

Фишер не пьет. Он пьет только молоко. Зато много ест, наверное, оттого, что он очень крупный. Во всяком случае, в ресторане он не выпил ни рюмки, зато заказал себе гигантский стейк.

Уже позже, когда мы разговорились, я спросил его: "Бобби, а что вы думаете о творчестве Тайманова?" Вопрос, конечно, был провокационный. Фишер выиграл у него с сухим счетом, и другой бы, наверняка, бросил что-нибудь уничижительное. Но Фишер ответил: "По-моему, он очень хороший музыкант!"

После ресторана мы гуляли. Он показал мне несколько книг о шахматных компьютерах, мы снова говорили о разных шахматистах, и он очень высоко оценил игру Корчного. И вообще, он производил впечатление хорошего, компанейского парня, разговорчивого и общительного. Единственно несколько странной была его медвежья, вразвалку, походка.

Прошли годы — о Фишере поступали различные слухи. Например, тут, в Нью-Йорке, живет одна индуска из Бомбея, с которой он регулярно переписывается. Фишер не раз обещал ей начать играть и даже приехать в Индию, но в последнюю минуту от этой идеи отказывался.

Однажды он попал в полицию в Пасадине. Полицейским показался странным этот парень. Они решили, что он похож на преступника, незадолго до этого ограбившего банк. Они спросили у него документы. Бобби ответил, что никаких документов у него нет. Его забрали в участок, где он назвался вымышленным именем. Потом он все-таки сознался, что он — Фишер. Но оказалось, что полицейские и понятия не имели, кто такой Фишер. Позже он выпустил брошюру о том, как

его содержали в американской полиции. Он уверяет, что его били. Его довольно долго продержали в холодном карцере. Но потом все-таки выяснили, что это не преступник и сказали: "Ну ладно, парень, ты можешь идти". На это он возмущенно воскликнул: "А где мои десять долларов?"

Известна и другая история из жизни Фишера, правда, более раннего времени, но тоже связанная с тюрьмой. Фишер давал в тюрьме сеанс одновременной игры, и за одной из досок сидел заключенный, который постоянно воровал фигуры. Первый раз Бобби вернул пешку на место, а второй раз сказал: "Послушай, парень, если ты еще раз это сделаешь, я скажу начальнику тюрьмы, чтобы тебе продлили срок". На что тот, не моргнув глазом, ответил: "Вам это не удастся, сэр, поскольку я здесь нахожусь бессрочно!"

Жизнь Фишера вообще полна всяких легенд, анекдотов, интересных случаев. Например, когда он обыграл Спасского в 1972 году и стал чемпионом мира, советская печать, желая этот проигрыш как-то объяснить, выдвинула версию, будто в кресло Фишера было вмонтировано специальное электронное приспособление, которое вносило помехи в игру Спасского, но никак не мешало игре Фишера. Вскрыли кресло, пригласили экспертов, которые, разумеется, ничего не обнаружили.

Секунданты рассказали Фишеру об этом, когда он был в бассейне. Бобби стал так дико хохотать, что погрузился в воду и долго не мог выплыть. Выплыв наконец, он сказал: "Я предъявлю советской делегации счет — ведь в результате этой истории я чуть не утонул!"

Недавно стало известно, что Фишер подружился с аргентинским гроссмейстером Кинтересом. Кинтерес при мне рассказывал моему другу Сосонко, тоже шахматисту, что они постоянно видятся и много играют и что Фишер все еще играет, как бог, как дьявол, — так что Кинтересу в блицах не удастся добиться ни одного ничейного результата. По словам Кинтереса, к концу этого года Фишер собирается вернуться к шахматам. Произойдет ли это, — пока трудно сказать, но если Фишер снова сядет за шахматную доску, то, возможно, откроется еще одна блистательная страница в мировой истории шахмат.

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД
СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ,

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА И СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ ВЫШЛА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Цена книги -15 долларов.

Заказы и чеки высылать по адресу: **Time and We**
475 Fifth ave, room 511 A
New York, New York, 10017



ЖИВОПИСЕЦ АЛЕКСАНДР ДАНОВ

Он родился в Дагестане. Учился и работал в Ленинграде. Теперь он — дюссельдорфский художник Александр Данов.

Все в его жизни, казалось, складывалось удачно. Окончив в 1967 году училище им. Мухомовой как прикладник он имел заказы, и не просто заказы, а вполне почетные. Например, оформление интерьеров гостиницы "Советской" в Ленинграде.

Кроме того в будущем его, очевидно, ждало профессорство. Данов стал преподавателем института, в котором учился.

Можно думать, что и художественные советы не чинили ему особых препятствий. Еще в студенческие годы Данов начал выставляться и был участником около полутора десятка выставок.

Критики тоже не обижали художника. Среди изданий, которые опубликовали о нем статьи, — журнал "Декоративное искусство" — один из лучших в Союзе.

Словом, художник должен был быть счастлив. Но был ли?

Вот одна из его "незаказных" вещей: две мерзкие рыбы, две твари повисли, заполнив все небо, над Дворцовой площадью ("Неблагополучие", 1977). Картина на редкость проста и по композиции и по замыслу. Она прочитывается мгновенно. Потому кинувший на нее взгляд, замирает охваченный жутью этого образа неблагополучия.

Художник, создавший это полотно, может знать, "как спать, пригнувшись в ушах мерный тресковый шаг", но захочет ли?

Все более и более тяготится Данов официальным искусством. Все чаще и чаще мысль его и поступки входят в противоречие с правилами игры, которые должен соблюдать всякий, желающий покойной и благополучной жизни.

Вот он уже и участник выставки "неблагополучных" — выставки неофициальной живописи, устроенной в Невском Дворце культуры в Ленинграде (1975 г.). А от участия в таких выставках до решения (своего ли, властей ли) эмигрировать не так далеко. В 1979 году Данов уезжает в Германию.

Нет, и в Германии его искусство не приобретет черты веселой беззаботности, хотя грустному Пьеро он и предпочитает Арлекина.

Арлекин — излюбленный персонаж художника. Еще в Ленинграде Данов пишет "Троицу" (1978), — думаю, вещь для себя программную. Классическую композицию русского искусства он населяет классическими персонажами европейского театра. Вместо трех ангелов — три маски комедии дель арте. Трижды повторена печаль в лицах. Трижды "прозвучит" молчание. Ибо "это только для звука пространство всегда помеха: глаз не посетует на недостаток эха". И не триединство божественного Творца выражают они, а триединство современного человека, земного реального творца.

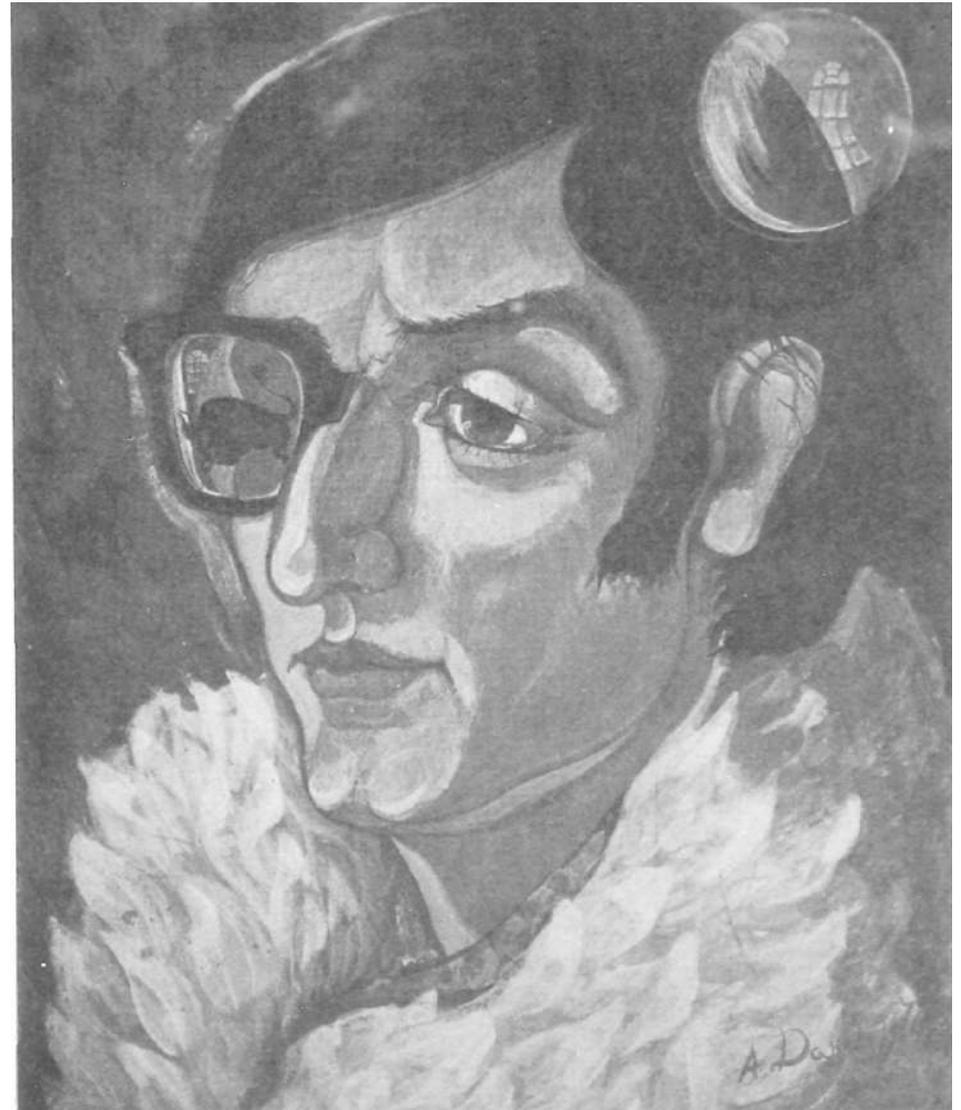
Арлекин нежен и грустен не только в "Троице". И в других работах Данова он тоже изменяет своему классическому амплуа. Его Арлекин не веселит публику проказами, не выбегает на сцену с остроумной репликой и эксцентричным жестом. Да и сцены как таковой нет. А есть жизнь. И по этой жизни шагает Арлекин Александра Данова, то в ужасе хватаясь за голову ("Исход"), то замирая в тоскликом покое ("Ностальгия").

Александр Данов — мастер. Мастер — потому что он блестяще владеет формой. Потому что не он подчиняется материалу, а материал подчиняется его художественной задаче. Потому что эмоциональное воздействие его вещей конкретно и ясно, даже когда это просто "безымянная сумма мышц" ("Модель").

Вообще многие его акварели — маленькие шедевры. Текучую, мягкую, камерную технику акварели он заставляет быть динамичной, остро графичной, монументальной. Такова, например, акварель "Мгновение".

В Германии у художника было несколько выставок. Немецкая публика эти выставки охотно посещает. А немецкая критика — охотно о них пишет. Рядом с искусством многих своих современников искусство Данова выделяется законченностью и четкостью мысли. Оно не смутно по настроению. В нем не нужно ничего угадывать. Его работы запоминаются и никогда не оставляют равнодушными. Потому что в творчестве Александра Данова всегда есть борьба. Борьба за себя и за современника, за свое время — и против него. За свое искусство таков, какое оно есть.

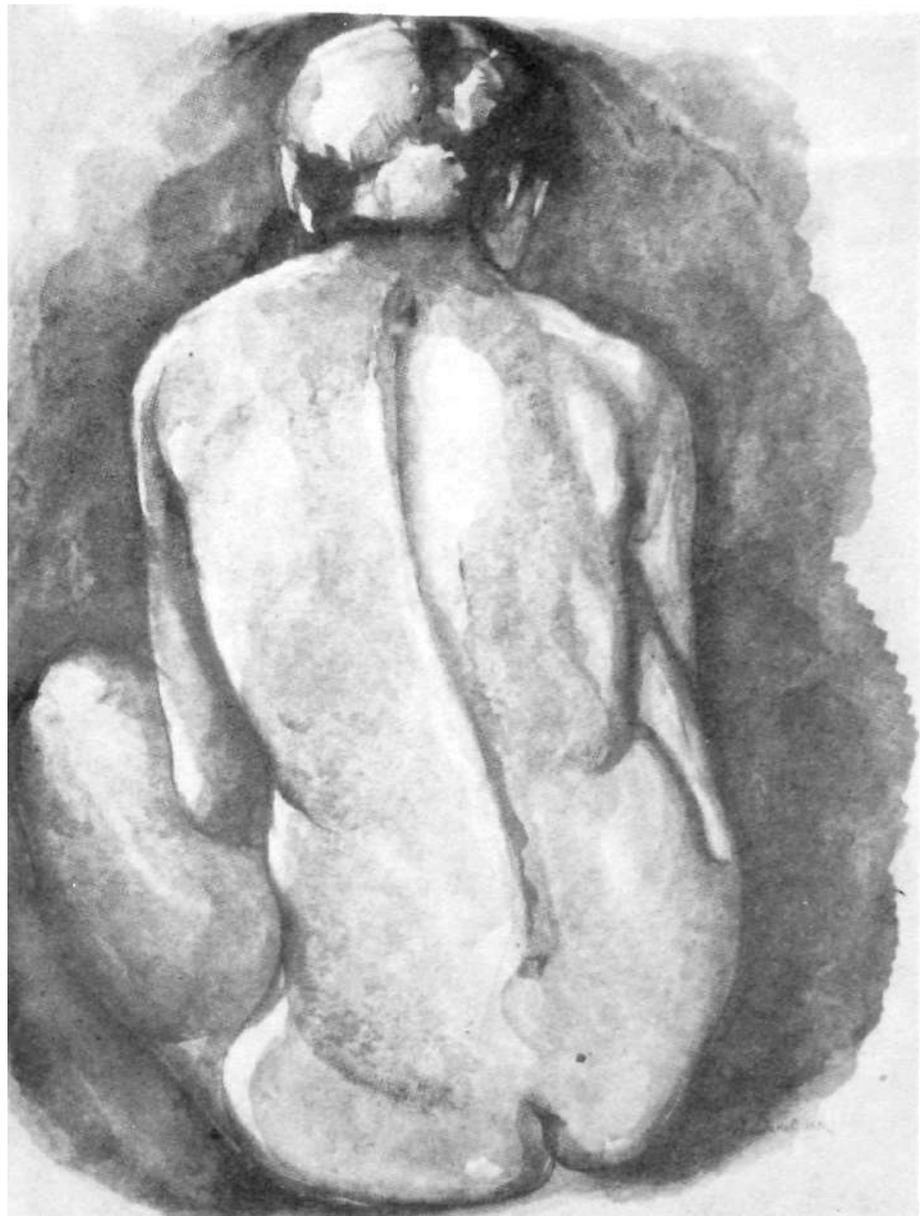
Ася КУНИК



Автопортрет. 1977. Темпера. 50x60



Троица. 1978. Темпера. 150x175



Модель. Акварель.



Мironovna. 1980.
Акварель. 50x37



Ностальгия. 1979.
Акварель. 90x70



Темпера. 60x60

Каждый несет свой
крест. 1981. Деталь.



Неблагополучие. 1977.
Темпера. 85x65

Ел.ГЛЕЗ

НЕВИДИМЫЕ ПИСЬМА

(223 стр.)

Ел.Глез (Илья Исаакович Глезер) — по профессии и по призванию прежде всего биолог. Большую часть своей жизни он провел в Москве, и его труды в области строения нервной системы получили международное признание.

В 1972 г. Глезер был арестован и как сионист получил шесть лет лагерей и ссылки.

Книга "Невидимые письма" — это воспоминания Глезера об этих шести годах. Однако воспоминания не совсем обычные. Лагерная тема, уже так много раз присутствовавшая в нашей литературе, в его книге получила неожиданное освещение.

Ее первая часть "Лефортовские сказания" — это прежде всего раздумья автора над судьбой еврея вообще. Потому так логичны библейские реминисценции и мотивы, которые он вводит в текст. А форма писем, которую избрал автор, придает его воспоминаниям интимную, камерную интонацию.

Вторая часть — "Богучанские чаепития" посвящена годам ссылки. Главный герой ее не столько сам автор, сколько русские люди, с которыми пришлось столкнуться Илье Глезеру в ссылке. Яркие, колоритные характеры сибиряков надолго запомнятся читателям.

Казалось бы, воспоминания, даже беллетризованные, но посвященные лагерю и ссылке, не могут носить оптимистического характера. И тем не менее "Невидимые письма" написаны оптимистом.

Оформил "Невидимые письма" тоже оптимист. Имя его Вагрич Бахчанян.

Стоимость книги 12 долларов. Плюс 1 дол. за пересылку.

Заказы и чеки направлять по адресу:

I.Glezer

106 Pinehurst ave., A-34

New York, New York

10033

Исход Арлекинов. 1980. Темпера. 125x150



БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

ДЖОН БАРРОН "КГБ СЕГОДНЯ"

Большинство наших читателей знакомо с именем Джона Баррона — автора нашумевшей книги "КГБ", переведенной на многие языки мира, в том числе и на русский.

Книга "КГБ сегодня" — новейшее исследование того же автора, рассказывающее о самых зловещих сторонах и тайных пружинах деятельности советской секретной полиции в наши дни.

На примерах подрывной деятельности КГБ в Соединенных Штатах и Японии Джон Баррон рисует зловещую картину политического бандитизма, инспирируемого Москвой во всех странах мира.

В книге подробно раскрывается механизм деятельности КГБ. Джон Баррон рассказывает о том,

КАК ДЕЙСТВУЕТ КГБ СЕГОДНЯ — И В СССР, И В ОСОБЕННОСТИ ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ,

КАК ГОТОВЯТСЯ КАДРЫ БУДУЩИХ РАЗВЕДЧИКОВ И ВЕРБУЕТСЯ АГЕНТУРА НА ЗАПАДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ СРЕДЫ САМЫХ КРУПНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ,

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КРАЖА ПЕРЕДОВОЙ ЗАПАДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ,

КАК КГБ ВЛИЯЕТ СЕГОДНЯ НА ВНЕШНЮЮ И ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ ЗАПАДНЫХ ГОСУДАРСТВ И О МНОГОМ ДРУГОМ.

Книга написана в форме захватывающего детектива. В то же время она является важнейшим обличающим документом нашего века.

Объем книги — 432 страницы. Цена — 22 доллара.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
475 Fifth ave, suite 511-A
New York, New York
10017

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

Александр Орлов
ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Эта книга принадлежит одному из видных деятелей сталинского НКВД, но почти 30 лет она была неизвестна русскому читателю. Чудом уцелев, генерал Александр Орлов бежал в 1938 году в Соединенные Штаты и, оставаясь 15 лет неузнанным, прожил здесь до конца своих дней. Книге Орлова — это документальное свидетельство эпохи, раскрывающее самые глубокие тайны сталинской секретной полиции.

...КАК ГОТОВИЛОСЬ УБИЙСТВО КИРОВА...

...ВСТРЕЧА СТАЛИНА С НИКОЛАЕВЫМ...

...КАК БЫЛИ ВЫРВАНЫ ПРИЗНАНИЯ У ЗИНОВЬЕВА И КАМЕНЕВА...

...ИХ СДЕЛКА СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ...

...ДОПРОСЫ И ПРИЗНАНИЯ ПЯТАКОВА, БУХАРИНА. РАДЕКА...

...ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ АЛЛИЛУЕВОЙ...

...ЯГОДА ПЕРЕД КАЗНЬЮ...

...ЕЖОВ, КАКИМ ОН БЫЛ...

...ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СТАЛИНА ПАУКЕР ОБ УТЕХАХ ВОЖДЯ...

Таковы лишь штрихи, лишь отдельные эпизоды документальной эпопеи Александре Орлова.

По свидетельству специалистов, ни одна из изданных до сих пор книг о советской тайной полиции не может сравниться с книгой Александра Орлова как по документальной точности излагаемых фактов, так и по захватывающему интересу, который она вызывает у читателей. Тот, кто открыл первую страницу этой книги, уже не сможет закрыть ее, не дочитав до конца этот зловещий детектив сталинской инквизиции.

Книга Орлова (350 стр.) иллюстрирована редкими фотографиями 30-х годов. Цена книги - 15 долларов. Пересылка - 1 доллар.

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
475 Fifth ave, room 511-A
New York, New York 10017

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

АНДРЕЙ НАЗАРОВ - см. № 77.

ГЕОРГИЙ БЕН — родился в 1934 году в Ленинграде. Окончил Педагогический институт им.Герцена. После института преподавал английский язык и зарубежную литературу в вузах Ленинграда, Петрозаводска, Новгорода, Ижевска. С 1958 г. начал публиковать переводы стихов и прозы. Среди переведенных им поэтов и писателей Лонгфелло, Байрон, По, Киплинг, Хьюз, Мозм, а также африканские и индийские писатели. В 1973 году эмигрировал в Израиль. На Западе продолжает заниматься переводами. В его переводах вышли следующие произведения: Г.Фаст "Мои прославленные братья", А.Кестлер "Тьма в полдень", О.Хаксли "Счастливый новый мир", Вук "Это мой бог", Маламуд "Помощник" и др. В настоящее время живет в Лондоне, работает на радиостанции Би-би-си.

ИГОРЬ ПОМЕРАНЦЕВ — родился в 1948 г. По образованию филолог, окончил романо-германское отделение Черновицкого университета. Журналист, писатель и переводчик. В 1978 г. эмигрировал. Сейчас работает на радиостанции Би-би-си в Лондоне. Выступает в русскоязычной и зарубежной печати. В журнале "Время и мы" (№ 63) был опубликован его рассказ "Монолог".

ИОСИФ КОСИНСКИЙ — родился в 1929 году в Ленинграде. В 1948 поступил на юридический факультет ЛГУ. В апреле 1951 года был арестован по обвинению в антисоветской деятельности и приговорен к десяти годам лагерей. При Хрущеве был амнистирован и вернулся в Ленинград (1955 г.). Работал как переводчик и патентовед. В 1981 году эмигрировал в США. Сотрудник крупнейшей русской газеты "Новое русское слово". Как журналист и переводчик печатается во многих эмигрантских изданиях. Для издательства "Время и мы" И. Косинским была подготовлена книга А.Орлова "Тайная история сталинских преступлений" (1983), сделан перевод книг Г.Брук-Шеферда "Судьба советских перебежчиков (1983) и Дж.Баррона "КГБ сегодня" (1984).

ДОРА РОМАДИНОВА — окончила МГУ искусствоведческое отделение и Институт имени Гнесиных как музыковед. С 1967 года была членом Союза композиторов. Работала музыкальным редактором Всесоюзного радио в Москве, а затем заведующим отделом журнала "Советская музыка". Печаталась во многих советских изданиях: журналах "Театр", "Музыкальная жизнь", "Литературной газете" и др. В 1978 году эмигрировала в США. В настоящее время специализируется в области прикладной математики, занимает должность руководителя проекта в одной из нью-йоркских фирм.

МАРК ПОПОВСКИЙ — родился в 1922 году. Писатель-документалист и публицист. С 1961 года был членом Союза писателей. Во время второй мировой войны — офицер медицинской службы. М.Поповский автор четырнадцати книг, изданных в СССР, среди них книга об академике Николае Вавилове "Надо спешить!". Печатался во многих советских изданиях: журналах "Новый мир", "Звезда", "Дружба народов", "Литературной газете" и др. С 1978 года живет в Нью-Йорке. На Западе Поповским написан целый ряд книг, в которых он продолжает главную тему своего творчества — говорит о нравственной позиции ученого XX века. Среди книг, вышедших на Западе: "Управляемая наука" (1979, издана на четырех языках), "Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга" (1979), "Дело академика Вавилова" (1983). С весны 1984 года Марк Поповский — заместитель главного редактора литературного и общественно-политического журнала "Грани".

ДОНАЛД РЕЙФИЛД — родился в 1942 году. Специалист по русскому языку и литературе. Заведует кафедрой русского языка в Квин Мэри колледже в Лондоне. Автор книг о Чехове, Пржевальском, переводов и статей о Мандельштаме, Важе Пшавеле и др. "Исповедь Виктора Х." с предисловием Д.Рейсфилда вскоре выходит по-английски в издании: "Caliban Books", в Лондоне.

ЧАРЛЬЗ БОЛЕН (1904-1983). Родился в семье дипломатов. Его дед был первым американским послом во Франции. Другие биографические сведения см. в публикуемом переводе главы из книги Болена и в послесловии Ильи Левкова.

ЛЕОНИД ШАМКОВИЧ — см. № 77.

"ВРЕМЯ И МЫ" — 1984

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 43 доллара; для библиотек — 48 долларов; с целью экономической поддержки журнала — 50 долларов. Заказы и чеки высылать по адресу главной редакции:

Time and We

475 Fifth Ave, suite 511-a. New York, New York 10017

Цена в розничной продаже — 8.50

Стоимость подписки в Израиле устанавливается израильским отделением журнала "Время и мы". Заказы и чеки высылать по адресу отделения: Иерусалим, Талпиот мизрах, 422/6 (зав. отделением Дора Штурман-Тиктина).

Подписка из Франции, Германии и других стран мира может осуществляться как через главную редакцию в Нью-Йорке, так и через представителей журнала.

При подписке в главной редакции чеки высылаются только в американских долларах (т.е. это должны быть чеки американских банков или иностранных банков, имеющих в Нью-Йорке отделения).

При подписке через представителей журнала (или его отделения) стоимость подписки:

— во Франции — 350 франков; для библиотек — 400; с целью экономической поддержки журнала 450 франков;

— в Германии — 115 немецких марок; для библиотек — 125; с целью экономической поддержки журнала — 140 марок.

Подписка авиапочтой — 86 долларов.

"ВРЕМЯ И МЫ" — 1984 ГОД

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия

Имя

Адрес

Подписной период

Прошу оформить подписку на журнал "Время и мы|" на год. Высылать с номера Журнал высылать обычной /авиа/ почтой по адресу

Подпись

Примечание редакции: чек выписывается по-английски на имя журнала "Время и мы" /Time and We/.

Из Германии, Англии, Франции и других стран чеки могут высылаться либо непосредственно по адресу главной редакции, либо в адрес представителей журнала.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылается по адресу: "Time and We"

**475 FIFTH AVENUE, SUITE 511-A, NEW YORK.
NEW YORK 10017. Tel. (212) 684-3014**

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

MAIN OFFICE:
475 Fifth Ave, suite 511a, New York, N.Y. 10017

Printed in Israel

OCR и вычитка — Давид Титиевский, февраль 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На четвертой стороне обложки: Александр Данов. День
Фото Андрея Назарова Ленарта Лейбошица (Lennart Leiboschitz)

